

Юрий КРАСАВИН

ВАЛЕНКИ

ПОВЕСТЬ



© Красавин Ю.В., наследники. 2017 г.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ КРАСАВИН

Родился 7 января 1938 года в с. Мелковичи Солецкого района Новгородской области. Детство прошло в деревне Ремнево Калязинского района Тверской области. Закончил Калязинский машиностроительный техникум в 1959 году. Работал конструктором на Конаковском фаянсовом заводе, учителем в школе рабочей молодежи г. Конаково, собственным корреспондентом газеты «Калининская правда». В 1969 году закончил Литературный институт им. Горького в Москве. Член Союза писателей СССР с 1972 года.

В 1975-1982 руководил Новгородской писательской организацией.

С 1984 по 2013 год проживал в г. Конаково Тверской области.

Лауреат литературной премии им. Н. Островского.

Автор 14 книг прозы, вышедших в издательствах: «Молодая гвардия», "Московский рабочий", «Советский писатель», «Современник», "Советская Россия", "Детская литература", «Лениздат» и других.

Более 30 романов и повестей опубликовал в журналах «Новый мир», «Знамя», «Наш современник», «Роман-газета», «Октябрь», «Нева», «Звезда», «Север», «Волга», «Дальний Восток», «Дон», «Подъем», «Русская провинция».

1.

Игнат Архапов умер своей смертью в печи... то есть в обыкновенной русской печи, в которой варят и парят, сушат и жарят, которая так славно обогревает в холода и в любую пору года лечит от ломоты в костях, от простуды и старости, и она же хранит живой дух деревенского жилья, как хранит человеческое тело свою нетленную душу. Конечно, печь – не лучшее место для такого исключительного события, как смерть человека, но так уж получилось, тут не утаишь.

Была зима сорок пятого, последняя военная зима. Старик Архапов жил один-одинешенек, обуреваемый не болезнью, а общей слабостью; вставши поутру, он кое-как протапливал печь, чтобы сварить картошки и поддержать живое тепло в избе, а вечерами постирал на теплом поду грязное ватное одеяло и заползал на него, укладываясь на ночь. Случалось, что от уголька из жаратка одеяло начинало тлеть, но Игнат, учуяв запах горящей ваты, поплюет на пальцы и притушит этот малый пожар.

Спал Игнат, не раздеваясь, головой на шесток, в изголовье клал пару старых валенок, один на другой, и доволен был таким способом спанья настолько, что даже хвастал им в деревне: поясница, мол, за ночь хорошо прогревается, клопы не донимают, воздух сухой – дышится легко; а удобно-то как: курить захотел – кисет на шестке, уголек в золе жаратка; поесть – пожалуйста тебе тут чугунок с картошкой или пареной свеклой. Так он и умер, лежа на печном поду, глядя незакрывшимися глазами в дымоход, сквозь который, как говорили, и отлетела его душа к небу. Пролежал он мертвецом, должно быть, несколько дней, в выстывшей избе, в заледенелой печи и сам заледенелый: морозы как раз стояли лютые.

Первой узнала, что старик Архапов умер, Дарья Гурова. Кабы не она, небось, не скоро спохватились бы: Игната не то чтобы недолюбливали в деревне, а будто побаивались. Никто к нему не ходил, да и он всех сторонился, жил на особицу. Но Дарье ли бояться или сторониться кого-то! У нее забота не своя и даже не колхозная – государственная; так сама она говорила. А государственная-то забота и на тот свет пошлет, не то что в дом к Архапову Игнату.

Раньше в Пятинах председательствовал муж Дарья, Павел Семенович Гуров. У него было два прозвища – Голопузый и Беспортошный. Впрочем, когда стал Пашка Голопузый председателем колхоза, прозвища постепенно выходили из употребления, чаще слышалось все-таки имя-отчество. На фронт он ушел в первый же день войны, не дожидаясь повестки, оставив председательское место на жену. Та заняла его с великой неохотой: знала, что несладко придется. Но кого другого поставить, если Дарья все-таки *партийная*? Она да муж ее, а больше партийных в Пятинах не было, да и в соседних деревнях тоже – в Ергушове, Задорожье, Матреновке, Тиунове... А беспартийного вряд ли признает на этой должности районная власть.

Ставши председателницей, Дарья приговаривала по каждому поводу: «Вот вернется Павел...». Это было для нее то же, что для верующего «Господи, помилуй».

Но ее Павел не вернется в Пятины – ухайдакали мужика в Польше, под городом Люблином. В конце-то войны жалобы Дарьи были безысходны: «Что ж такое – на каждом совещании и матом лают, и кулаком на меня стучат; а прислали уполномоченным начальника милицейского, так он и наганом грозил. Как чуть чего, так за кобурку... Нет уж, не бабье это дело - колхозом управлять». Однако ясно было и самой, что ходить ей в председателницах долго, потому как некем заменить.

К Архапову Игнату она пришла с нарядом: надо веять семенное жито, а веялка неисправна. Кто починит, как не Игнат? Мужики на фронте, а те что дома - разве это работники? Тот безногий, этот безрукий... Название одно что мужики. Недаром же частушку кто-то сочинил:

Запевай, моя подруга,
И не бойся критики:
Все хорошие на фронте,
А в тылу рахитики.

Правда, старик Архапов больше по дереву, а не по железу был мастеровит, ну да все равно соображение имеется – так рассудила председателница. Потом она рассказывала:

Где-то в середине *навозного* дня пришла на конюшню весть: Игнат Архапов помер. Не шибко-то этому удивились: многие догадывались, что он вот-вот помрет. Не раз можно было слышать в разговорах: плох-де Игнат Савельич, то ли доживет до весны, то ли нет. Видно было, что не протянуть ему долго: еле-еле ползал возле своего дома.

«Игнат умер!» – словно выпал зуб, и в этом месте образовалась непривычная пустота. Как и все в деревне, Федя недолго любил Игната, то есть все время чувствовалось между соседями отчуждение – хмурый он и неприветливый был человек, Архапов-то! – а вот умер, и сразу неладно, сиром на душе, будто холодным ветерком повеяло.

Опасливые мысли потекли: Игната похоронят не сразу – какое-то время мертвый будет лежать в соседском доме – страшно: как спать в эти ночи? Ведь Архаповы рядом с Бачуриными крыльцо-в-крыльцо. И еще: кого-то пошлют долбить могилу в окаменевшей от морозов земле, кому-то придется делать гроб, а в день похорон выносить покойника – все это мужских рук дело, а мужики кто? Степан Гаранин – в больнице лежит, минные осколки в животе с фронта принес, вырезают; Иван Никишов – без правой ноги; Иван Субботин – без левой руки...

Теперь вот какой вопрос: на чьей лошади повезут покойника на погост? Краля нервная. Да и Милка Костяхи Крайнего беспокойная. На Фединой Серухе? Эх, лучше бы на быке Мокей Мокеиче, а Вовке Зюзину править. Или пусть запрягают Чебутыку, а править-то сможет безногий Иван.

3.

Похороны прошли, как и предполагалось, таким порядком: четверо делали то, что полагается, а двое, безрукий и безногий, командовали ими. Гроб вынесли из дому и установили на сани, Федя взял Серуху под уздцы и повел, не желая и боясь садиться рядом с мертвым Игнатом, а сзади шли бабы, оба Ивана, ну и Костяха, Вовка Зюзин, Мишка... Никого из архаповской родни на похоронах не было, и плакать по покойнику оказалось некому. Но проводили его честь

честью, на погосте опустили гроб в отрытую общими усилиями могилу (Федя Бачурин копал да Костяха, их сменили Вовка с Мишкой) и засыпали мерзлой землей опять же общими стараниями.

Вернулись в свою деревню – нет, еще не конец похоронной канители: надо справить поминки. Сели в опустелом Игнатовом доме за кутью, еще были картофельник да крупеник, Иваны добыли откуда-то бутылку, заткнутую грубо выструганной деревянной пробкой. И вот к этому-то моменту угодил Степан Гаранин, бледный, без кровинки на лице, но веселый, даже гармонию принес.

- Как почуял, что у вас тут выпивка, - балагурил он, - так я из больницы марш-марш сюда. Не дал я им ничего вырезать, докторам-то... а то еще оттяпают что-нибудь не то, жена и на порог не пустит.

- Степан, не к месту твои шутки, - укорили его бабы. – И гармонию зачем принес? Чай не праздник.

- Я мертвых, бабоньки, почитаю наравне с живыми, - отвечал он. - Они не хуже нас, мы не лучше их. А к смертям да похоронам я на фронте привык – дело это обычное. Вы главное помните: ничего не кончается, все продолжается. Я помру – возле моей могилки разрешаю даже поплясать – мне любо будет.

Пел он за кутьёй на мотив «Раскинулось море широко» вот что:

Савраска завяз в середине сугроба,
Две пары промерзлых лаптей
Да угол рогожей покрытого гроба
Торчат из убогих дровней.

Говорили на поминках о болезнях Игната: одни – что-де кашлял он, значит, чахотка свела его в могилу; другие – нет, мол, на поясницу жаловался, значит с почками что-то; третьи – так-то легко, дескать, умирают только от сердца.

- Шевелиться надо было! – возражал Степан Гаранин. – Пока человек шевелится – смерть его не возьмет. А перестал – тут она цап-царап. Шевелиться – вот что главное!

Федя же посчитал, что прав, пожалуй, именно Степан: зачем Игнат отлеживался! Последнее дело для мужика таким образом спастись от холода. Небось, за работой не умер бы.

Ну да что теперь толковать об этом – нет человека.

4.

Сестра Лидия как раз в тот день, когда в соседнем доме начались похоронные хлопоты, уехала в Калязин на базар. Ну, конечно, не одна, а с бабами. Похороны-то похоронами, а Гараня верно сказал! – все продолжается своим чередом, во всяком случае должно продолжаться.

И вот ведь от какого пустяка зависит судьба человека! Просто тыфу, да и только. Не дала бы Дарья Гурова лошади – и все, не случилось бы с Лидией того, что случилось. Но председательница посчитала, что все равно, какая уж тут работа, если Игната хоронить надо, а выпало это на воскресенье, когда в Калязине базар... И опять же: не придишь похороны на воскресный день или не умри Игнат, поживи он еще недельку-другую – и не бывать бы тому, что стало для Феди не то чтобы горем, но уж, во всяком случае, нелегким переживанием. Все было бы иначе!

Потом уже, и несколько лет спустя, Федор Бачурин не мог отделаться от сознания, что полоса больших несчастий и маленьких бед для их семьи началась не с того даже, что ушел на фронт отец и там пропал без вести, а вот именно с Лидии, хотя ее-то вины нет никакой.

Поехала она в город, продавала на базаре молоко (корова Хвалёнка недавно отелилась) да ломти картофельника – мать напекла; и вот, как потом рассказывали, присмотрел ее в торгом-то ряду солдатик, из недавно вернувшихся, тары-бары разводил, картофельник весь умял. Лидия ему не хотела говорить, откуда она да как зовут, но бабы свои же выдали: мол, из Пятин, не упустишь девку, жених, не то другие перехватят. Он сказал, что обязательно приедет в Пятины посмотреть, что там за гулянье.

- Приходи, - насмешливо сказала Лидия, - тебе наши ребята бока-то намнут. Не посмотрят, что воевал...

Как раз масленица была. В Прощенное воскресенье в Пятинах затеяли последнюю *беседу*. Обычно ее устраивали по череду в тех домах, где есть девки-невесты. Для сестры это была первая зима, когда она гуляла на *беседах*. И вот черед пришел к Бачуриным; с

утра в доме начался кавардак: девки мыли полы, Федя помогал вытаскивать в сени стол и кровать; из колхозного правления принесли на вечер десятилинейную керосиновую лампу со стеклом – она сияла так ярко, так празднично!

В сумерках девчата пришли кто с вышиваньем, кто с вязаньем; явились Федины приятели – но не их ждали пятинские девчата, они не женихи. Другое дело – шестеро парней из Тиунова, потом целая партия из Ергушова...

Вот на этой беседе у Бачуриных явился чужой, откуда-то издалека, один, без товарищей. Лидия узнала его, но виду не подала. Только брат Федя заметил, что сестра посмотрела на этого парня, а он на нее... Заметил, но не придал значения. А зря. Он еще мог как-то предотвратить надвигающуюся перемену.

Весь вечер этот чужак (рука у него была маленько скрючена) просидел смирно; заговорят с ним – он ответит, но сам ничего не спрашивал. Потом исчез так же тихо, как и появился.

А через несколько дней Федя пришел обедать – мать провожает с крыльца двух толстых старух.

- Сватали нашу Лиду, - коротко объяснила она в ответ на его вопрос: кто, мол, такие. Мать была и смущена, и озабочена: вроде бы не ко времени сваты – Великий пост.

- Как «сватали»? – огорошено спросил Федя.

То есть ему, конечно, было известно, что это такое. Но он горячо любил сестру и потому был против всякого сватовства к ней.

- Как сватал! – повторил он, рассердясь. – Ей же рано еще замуж!

- Восемнадцать в апреле исполнится, - грустно сказала мать. – Я по семнадцатому году вышла.

- Так то ты! А она-то...

«Как это можно, чтоб Лидию – замуж?» – не мог успокоиться возмущенный Федя.

- Да кто они такие? Почему именно к нам? Разве мало других девок? Пусть к Вальке Авериной сватаются.

- То их дело... Им, Федя, наш товар больше по душе.

- А мы не отдадим! Вот появится еще раз, я подговорю ребят, мы этому жениху морду набьем, и больше он сюда не сунется.

- Сынок, дело уже решенное.

- Как это решенное? А Лида?

- Я у нее спросила: согласна ли она. Она согласна. Нынче, Федя, в женихах не копаются. Не то время.

Он в великой досаде хлопнул кепкой об пол. И с этой минуты возненавидел своего будущего зятя, который подобрался так тихо, так незаметно, будто вор, чтобы завладеть, словно это вещь или ко-рова, живым человеком! Увезет сестру – сразу опустеет дом!

5.

После свадьбы дом и впрямь опустел. Но не это оказалось бедой. Она пришла к Бачуриным с той стороны, откуда ее не то чтобы не ждали, а и предполагать-то не могли. Впрочем, беды всегда приходят с неожиданной стороны, во всяком случае, большинство из них.

И началось-то все с пустяка, который опять-таки к ним, Бачуриным, никакого отношения не имел, никаким боком не касался. Даже когда произошло то потешное событие, никто не мог предвидеть, к чему приведет... нелепица эта.

А получилось так.

В Пятинах нанялся в пастухи парень возраста жениховского, то есть лет двадцати пяти, коренастый такой, присадистый, весь как из глины вылепленный. Бегать он не умел, был ленив, скотину пас плохо, но... другого пастуха где взять?

Видимо, за годы пастушества он разбаловался, обессовестел, а потому и был какой-то... без царя в голове: не понимал, что можно, а чего нельзя. Ведь ясно как Божий день: каждый человек в обыденной своей жизни должен иметь предел, знать черту, через которую не переступи, иначе себя уронишь – худая слава пойдет. А что может быть хуже? У пастуха же этой черты не было. Его хоть укоряй потихоньку, хоть ругай громко – он без понятия. Вместо того, чтоб за скотиной приглядывать, любил поспать, лясы поточить, приставал к дояркам при каждом удобном случае, особенно когда пригонял стадо на полдни. Все ему хиханьки да хаханьки, всегда на уме баловство

разное – одним словом, не было у человека совести. Вот не было, и все тут! Как не бывает руки или ноги.

Уже летом из соседней деревни Ергушово к нему повадилась ходить девка, слава у которой и раньше была плохая. Звали ее Верка Топотуха, и была она, в общем-то, как все; то есть работала нелегально, рассуждала разумно, а в праздник плясать выйдет – опять же не хуже других. Но вот не понимала Топотуха, что нельзя ходить с парнями за сараи или к пастуху в стадо. Уж ее бабы и совестили, и ругали: некрасиво, мол, стыдно... что же ты позволяешь себе, девка! Родная мать даже за волосы таскала Верку, но без всякого толку – та тупая была какая-то. В общем, она и пастух – два сапога пара. Только он был подлее и о ней рассказывал всем, как и что. Верка знала, что он о ней болтает, и все равно ходила.

Больше всех злилась на Топотуху Катерина Пряжина, сама любившая пошутить с пастухом. Она-то и подбила Шуру Мотовилину да Федину мать... Условились так: подоив коров на полднях, зайдут пособирать в лесу черники, а Топотуха заявится, как она обещала пастуху, он им свистнет.

- Я только хотела усювестить ее, - говорила потом Анна Сергеевна Бачурина в полной растерянности и в отчаянии от случившегося.

Она-то хотела просто усювестить, но... Катерина с Шурой налетели на Верку, будто коршуны на курицу, подол задрали, выстегали крапивой. Этого им показалось мало, они решили еще как-то покуражиться над нею, потому снятые с Топотухи трусы воздели на кол, будто флаг, и отправились в Пятины, распевая не что-нибудь, а «Интернационал».

Почему, собственно, «Интернационал»? Наверное, из-за первой строки «Вставай, проклятьем заклеяменный». Ведь они стегали ее, растянув на луговине (пастух помогал), а потом сказали: «Вставай, проклятая...». Тут им пришло на ум «проклятьем заклеященный». К тому же и «Кипит наш разум возмущенный». Ведь разум-то у них, действительно, кипел и вот именно от возмущения. Ну, а «в смертный бой идти готов» – этот бой не иначе, как порка.

Заклеймив Верку таким образом, они отправились в свою де-

ревню с флагом и гимном, будучи простодушно уверены, что все их одобряют и даже восхитятся: вот, мол, какие удалые, так ее и надо, эту бесстыжую Топотуху.

Весело им было, будто хорошее дело делали. А Фебина мать, Анна Сергеевна, выходит, участвовала в этом: хоть и не стегала крапивой, хоть и флага не несла и гимна не пела – просто присутствовала, просто шла сзади, но – участвовала!

Слух о потехе в тот же день дошел до сельсовета, а оттуда стало известно и кое-кому в районном городе. Казалось бы, диво невелико: мало ли кого крапивой стегают! Разве тот же Федя Бачурин не отведал крапивы? Но грех не в том... зачем такой флаг несли да еще и гимн пели?

Через несколько дней в Пятины прискакал на черном жеребчике милиционер... впрочем, говорили, что это следовательно, только в милицейской форме, то есть в широченных галифе и гимнастерке, туго одернутой под широким ремнем, в фуражке и сапогах. Черный жеребец стоял привязанным возле правления, удивляя деревенских мальчишек кожаным седлом и стременами, пока следовательно всех пятинских участников и свидетелей потехи допрашивал в председательской каморке. Потом он вышел на крыльцо, передвинул кобуру за спину, поправил фуражку, сел на коня и ускакал.

На другой день обидчикам Топотухи велено было явиться в город. Там их допросили еще раз, потом вызвали снова...

Федя сначала вместе со всеми посмеялся, не понимая, в чем же, собственно, обвиняют его мать. Но все чаще в разговорах стали мелькать незнакомые слова, вроде «прокурор», «дала показания», «допрос», «следствие», а рядом с ним – «провокация», «антисоветская вылазка», «на поводе у врагов народа»... и, наконец, как гром, «будут судить».

Тут уж стало совсем не до смеха.

Судили... Приговор был такой: за провокационное глумление над пролетарским гимном, за то и се... Пряжиной, Мотовилиной и Бачуриной – по году «принудиловки». Это, значит, не в тюрьму – работать будут у себя в колхозе, только уже не как вольные люди, а под принуждением, и с них будут вычитать сколько-то от заработанного.

А пастуху ничего, его дело сторона: он с флагом не ходил, гимнов не пел, а в чем был грешен, за то не сажали.

После суда Фебина мать слегла в больницу.

6.

Ни фигурой, ни одеждой Анна Сергеевна не выделялась среди пятинских баб. Но вот что примечательно: в общем говоре голос ее почему-то всегда был слышен, хотя других не перебивал: она обычно говорила немного, и никогда не скажет безделицы; если и пошутит, так чтобы развеселить и ободрить, а не ради пустого зубоскальства. Федя же всегда отмечал с гордостью тайной, глубинной, что его мать – особенная, не как все.

Летом восход солнца определял начало работы, а закат – ее конец. А еще ведь домашние дела: огород, скотина, стряпня... Измучаются бабы, из последних сил бьются, особенно в страду – косьба, жатва - и тут каждое слово, сказанное в досаде одной, для прочих непременно станет поперек. Как начнут сволочить друг друга – дым коромыслом и пыль столбом!

Но никогда в такой баталии не участвовала Фебина мать. Напротив, она умела замечательно усмирять страсти. Как ей это удавалось? Молчит, молчит, словно с интересом слушая жаркую перепалку, а потом в подходящий момент молвит с легкой досадой

- Да будет вам, бабы, лаяться-то! Что за охота... И как только у вас сил хватает!

А тон ее голоса и лицо, обращенное к враждующим, таковы, что и самые ругливые потявкают немного да и успокоятся.

Вот, пожалуй, в манере говорить и был весь секрет; и от всего облика Анны Бачуриной веяло рассудительностью и спокойствием. Да, это так! Носила она в себе какую-то непонятную силу... душевный строй у нее был особенный – это чувствовал сын, хотя, может быть, и не сумел бы выразить словами, как и многое другое.

Война уже откатилась куда-то далеко, в неведомую и ненавистную Германию, но весь ужас ее будто стоял над деревней Пятинь, над всей округой, пригнетая людей. Кровоточили, саднили,

ныли раны... не только те, что лечат врачи в больницах. Вот идет женщина – кажется, жива-здоровая, руки-ноги целы, а в глазах... У той мужа не стало, у другой брата или сына, а у третьей – и мужа, и брата, и сына.

Принесут извещение в чей-нибудь дом... выбежит еще одна вдова на улицу – выплеснуть горе свое в крике, вое... Соберутся вокруг нее соседи, подруги, а подойти боятся, скулят неподалеку. Кто-нибудь скажет: «Позовите Анну Бачурину!». И та спешит на зов. Кажется, никто из кричащих и не слушает, что именно говорит она, но что-то было в тех словах, потому что все тише, все спокойней становилась впадшая в отчаяние баба, а потом и встанут обе да и на работу пойдут. Федя потрясенно и горделиво оглядывался: вот что может его мать! Кто еще способен так-то утешить и даже исцелить?

В иной раз зовут:

- Анна! Поди-ка скорее к бабке Ульяне: помирает, тебя просит прийти.

Бабушка Ульяна Барыбина доживала свой век в одиночестве: не вернулся с войны единственный сын ее и двое внуков, храбрых парней; некому старушке глаза закрыть. И Фебина мать шла к умирающей затем, чтобы сказать что-то такое, что, конечно же, не исцелит ее от болезни и не воскресит убитых, но совершенно необходимо: без того старушке покинуть мир тяжело, горько.

- Анна! Иван безногий пьяный напился, Варюшку свою грозит избить, загнал в чулан. Сходи-ка ты, отругай его да Варьку-то вызволи.

И она шла отругать и вызволить.

Глядишь, еще у кого-то скандал в доме... вот хоть бы у Огаши Авериной: она со свекровью и ухватами гремят, и дверьми хлопают. И крик такой, что соседям слышно. День ругаются, и два, и уж сами устали от этой войны. Свекровь-старуха скажет:

- Хоть бы ты, Огашка, ходила за Анной Бачуриной, пусть она придет да рассудит нас.

И та придет к Авериным, сядет на переднюю лавку, положит руки на колени:

начинались у нее приступы, один за другим, давилась она тягучей слюной. А когда становилось совсем ей невмоготу, посылала она Вовку не к медичке в Знаменское, не к кому-то из своих родственников, а к Бачуриным. Фебина мать оставляла все свои домашние дела, отправлялась к Зюзиным, присаживалась на край кровати, клала свою руку на руку больной, в глаза ей смотрела как-то очень участливо:

- Ну что, Настя, опять плохо тебе?

- Плохо, Анна, уж так плохо! Не жить мне, видно. Ох, не могу больше!

- Эко ты, девка, больно просто!.. А кто твоих детей растить будет? Я, что ли? Никому они не нужны, наши дети, Настя. Не в детском же их! Ты вот сначала подними сыновей, а потом и умирай.

- Ох, и рада бы, да видно не судьба мне пожить...

- А полно, что ты такое говоришь! Эвон, гляди-ко, ребят своих испугала.

Федя, придя вместе с Вовкой, видел, сознавал: одним появлением своим его мать приносила в этот дом уверенность, что все образуется, что тетя Настя выздоровеет.

- Ох, все нутро у меня изболелось, - жаловалась больная уже чуть-чуть бодрее. – И тут не тронь, и тут тоже. Уж который день ничего не ем.

- А вот это нехорошо, Настя. Есть не будешь – и жить не будешь. Ну-ко, что там у вас в печи?

- Да нельзя мне ничего! Ни соленого, ни жареного врачи не велят.

- А не слушай ты никого! Ешь-ка творожок, сметанку... давай, давай, Вовка, неси все. Вот я кашей больную-то покормлю.

- Ой, Анна, у меня, видно, рак.

- Помилуй, Бог с тобой! – отвечала та ровным голосом. – Разве так раком-то болеют! И в голову не бери. От раку-то ты давно бы уж в могиле была.

- Ой, нет, знать, рак, рак... - твердила Вовкина мать, но уже без прежней убежденности. – Умру...

~~~~~  
- Что ты, подруга! И двадцать, и тридцать лет еще проживешь. Внуков понянчишь, помяни мое слово...

Федя мог уже заметить, что посветлело лицо больной, страданье отступило от нее немного. Вот они уж вспоминают детство свое...

- Как мы с тобой, бывало, на Татьянин-то пруд бегали купаться! Я из своей деревни, а ты из своей, а? Помнишь? Сядем на бережку да про будущих женихов толкуем. А жавороночки поют, лягушечки квакают...

- Неохота умирать, Анна! Ох, как неохота... Главное, детей жаль.

- Так и не умирай! Поболела и будет. Знай живи.

- А и то: возьму да и выздоровею.

Настя уже улыбалась.

- Вот так-то, - говорила Фебина мать, вставая. - А то, эва она, помирать собралась...

## 7.

- Сильно переживает Сергевна, - жалея, говорили в Пятинах люди добрые.

- Гордость ее мучает, - радовались неведомо чему люди злые. - Уж так гордилась, что она Бачурина, а на проверку вышло - не лучше других.

- От сумы да от тюрьмы не открестишься, - говорили те, кому все равно.

В эти дни Федя ходил сам не свой: будто обрушились разом устои привычного мира, и все сместилось, изменилось - хорошее стало плохим, доброе злым, белое черным.

- Прости меня, сынок, - сказала мать, когда он пришел проведать ее в больнице.

Он торопился утешить ее так, как сама она утешала других: мол, ни в чем не виновата, все пройдет, за ненастьем приходит вёдро...

- Чего уж там... - страдая, вздыхала мать. - Поделом мне: лучше самой в обиде быть, чем других обижать.

И он, слушая ее, мысленно соглашался: да, виновата, чего там... Не сама ли она говорила ему, Феде: с кем поведешься, от того и на-

берешься. И вот повелась с этими пустыми бабенками, Катериной да Шурой, а от них ли чего путного ждать!

Потому Феде было еще жалче, еще отчаянней, что как ни кинь, а есть материна вина.

Когда больная маленько поправилась и вернулась домой, он не узнал ее: почернела, похудела, вот уж верно – краше в гроб кладут. Федя догадывался, что не столько от болезни мать страдала, и не столько даже оттого, что считала для себя позором и следствие, и суд, и приговор (выходило: она преступница... уголовница...), сколько от укоров себе самой. Тут она не знала жалости и пощады.

Станным образом «антисоветская вылазка» матери встала рядом с «пропал без вести» отца, выстраиваясь так, что одно как бы подтверждало другое. Мать говорила, что следователь кричал на нее: мы, мол, не знаем, где твой муж, - может, добровольно сдался немцам в плен? Может, он так был настроен, поскольку и его жена способна на провокацию...

Да что следователь - и Дарья Гурова попрекнула:

- У тебя муж неведомо где... еще разобраться надо.

- Да что ты такое говоришь-то, Дарья! – вспыхнула мать, едва сдерживая слезы. – Али не на фронт его взяли? Мало того, что убили мужика, так еще и корите неведомо чем. За что?

Федя присутствовал при этом кратком разговоре посреди деревенской улицы, при посторонних. Он никогда не видел свою мать в таком гневе.

- Не знаю, - смутилась Дарья, но смотрела сурово. – Мой Павел ушел на фронт – вон извещение: погиб смертью храбрых. А в твоём извещении что?

- Да мой ли Алексей виноват, что бросили, небось, убитого в поле, не похоронив, и в списки не занесли? Спроси-ка у людей, сколько пропавших-то безвестно. Один мой муж, что ли? Погоди, вот разберутся, пришлют бумагу – где убит, где похоронен. Небось, стыдно тебе будет. Обидеть легко...

За несколько дней, что провела Анна Сергеевна дома, почему-то никто не пришел к ней с утешением – все будто отвернулись. Для нее, столько раз утолявшей добрым словом чужую боль и утишав-

шей чужую вражду, ни у кого не нашлось таких же слов – это, пожалуй, больше всего поразило Федю.

Злые люди! Злая деревня!

Мать ходила в низко повязанном платке, стыдилась лишней раз показаться на улице.

Вскоре велели ей вместе с Шурой Мотовилиной и Катериной Пряжиной ехать в село Большое Михайловское – это довольно далеко, в сторону Загорска – пилить лес.

На каждый колхоз в то время были наложены такие повинности: пилить дрова для каких-то городских нужд или заготовить бревен столько-то кубометров ежегодно. Ну не только это: еще и ремонтировать дороги, посылать самых крепких и здоровых девчат на торфо-разработки, самых лучших лошадей – фронту или куда-то там еще... А кого послать, скажем, на такую мужичью работу, как лесоповал? Каждый год из-за этого был скандал: кому ехать в Большое Михайловское. Теперь ясно кого послать, и те, кому выпало, уж не смели пикнуть – у них «принудиловка».

Мать собралась в дорогу, будто бы даже обрадовавшись: взяла с собой узел картошки, мешочек сухарей – никто ее там кормить не будет, еду из дома надо брать. В последний день была то ли больна, то ли очень уж подавлена, сама не своя.

Из соседней деревни Ергушово послали на лесоповал в Большое Михайловское двух мужиков с лошадьми. Через неделю Федя наведлся в Ергушово, от этих мужиков узнал, что с раннего утра и до позднего вечера мать в лесу, а ночуют в какой-то избе, спят на полу, укрывшись кое-чем. Несладко, в общем, там. А как помочь? Федя послал матери с мужиками еще картошки и еще сухарей, и творожку немного: корова Хвалёнка стала доить помалу, пора ей в запуск.

Без матери Федя вел хозяйство обычным порядком. В его владении был дом со двором, а во дворе две овцы, восемь куриц с пухом:, была еще кошка Мырзя, но она хозяйину не подчинялась и от него не зависела: пропитание себе добывала самостоятельно, а в дом приходила только погреться да переночевать. Но самое главное богатство Бачуриных – корова Хвалёнка. Вернее, половина коровы.

Когда сестра Лидия нынешней весной выходила замуж, половину Хвалёнки пришлось продать. То есть теперь Бачурины держали ее пополам с Аверинными, на два хозяйства одна корова. Те деньги, что выплатила крестна за полкоровы, мать потратила на Лидину свадьбу. Может, и не на нее, а на что-то еще, с нею связанное. Но суть в том, что продажа эта стала для Феде еще одним несчастьем.

Так и шло по цепочке: сначала ушла из дому сестра, потом увели Хвалёнку, а теперь вот услали мать...

## 8.

Федя помнил ту морозную ночь, когда отец внес мокрого, уже заиндевелого, дрожащего теленочка в избу и поместил в загородку возле печи. Оба они, отец с матерью, были в тот вечер просто счастливы, стояли возле новорожденного, гладили по мокрой, чуть закурчавленной спинке и приговаривали:

- Телочка... мы ее на племя оставим. Гляди-ка, складненькая, да и глазки умненькие.

А он, Федя, лежал тогда на печи и, свесив голову, смотрел вниз, не совсем понимая радость матери и отца. Ну что, теленок как теленок, черный, с белым пятном на лбу, в белых чулочках на передних ногах. Ничего особенного.

- Да уж расхвалили-то, расхвалили-то! – сказал он насмешливо.

Мать говорил, что именно он, Федя, и придумал телочке это имя – Хвалёнка. В то лето, когда началась война, он приучал Хвалёнку к стаду – о, это было непросто! – уж помучила она его: как маленько солнышко припечет, как только слепень ее укусит, так она хвост трубой и – помчалась! В Пятины, на родной двор, где прохладно. До самой деревни вскачь, а Федя за нею следом: из сил выбивался, бежал со слезами обиды на глазах, а Хвалёнке хоть бы что. У двора лишь настигал, возвращал в стадо. А там к ней опять овода пристают. Она опять хвост трубой и – домой.

А к осени подросла, остепенилась, зимой-то и вовсе стала взрослой. На следующее лето вышла, будто девушка на гулянье. А потом, зимой, у нее у самой появился теленок, и она превратилась

в настоящую корову, про которую говорили, что, мол, *первым теленком*. Ее мать к тому времени продали – так отец приказал, уходя на фронт, - а себе оставили ее, Хвалёнку. Когда же стала *вторым теленком*, то и молоко давала наравне с самыми удоистыми коровами в Пятинах. Разумная, степенная (шутили в деревне, что похожа на свою хозяйку, на Сергевну), красивая корова – Федя испытывал к ней прямо-таки родственное чувство... вот как к сестре Лидии. Почти так.

И вдруг Хвалёнку, то есть половину ее, продали. Теперь одну неделю она стояла во дворе Авериных, а другую – у Бачуриных. Феде казалось, что вернувшись в родной двор, Хвалёнка с укором смотрела и на него, и на хозяйку, и оттого не мог отделаться от сознания вины перед нею. Именно с виноватым видом встречал ее на своем дворе, гладил по спине, по бокам, приговаривая:

- Ну что? Иди, я вот... травки накопил – это гостинчик тебе.

Напрасно продали половину Хвалёнки. Ах, как напрасно! Надо было как-то извернуться, продать овец и всех до одной кур, еще что-нибудь, но Хвалёнку оставить, оставить...

Когда мать лежала в больнице, корову в «бачуринские» дни доила для Феде Валька Аверина или сама крестна. Но когда мать уехали в Большое Михайловское, он сообразил, что их не всякий день допросишься прийти и подоить, что надо самому обучиться этому делу. И вот вышел с подойником к Хваленке, сел с правого боку, как делала мать, неловко огладил вымя.

Хвалёнка, повернув голову, изумленно следила за его действиями. Она будто насмешничала: э, парень! Не мужское это дело – коров доить.

- Да ладно тебе! – сказал ей Федя. – Много ты понимаешь!

На это она, конечно, подумала, что никто из мужиков или парней доить не умеет, и разве Толя-полудурок в Веселухе ходит с подойником на полдни, а больше-то никто.

- Ну и я научусь! – нелюбезно сказал Федя Хваленке. – Коли приспичит – и курица свистнет. Ясно тебе?

Струи молока почему-то чаще попадали не в подойник, а на копыта Хваленке, в навоз, и что самое досадное – в рукава. Федя никак не мог приноровиться. Пришла тетя Огаша, ободрила:

- Смелей, смелей, Федюшка!

Она присела рядом, стала учить. И кое-как, «с грехом пополам», как выразилась крестна, он подоил Хвалёнку.

С этого раза так и повелось: в «бачуринские» дни, вставши утром рано, он шел во двор, выносил пойло, бросал Хваленке в ясли охапку сена с рубленной соломой и доил: так же и в полдни, и вечером.

Он любил те дни, когда она стояла во дворе: в доме становилось поваднее. Вечером, выходя по малой нужде, слышал, как корова вздыхала в темноте, и на душе сразу теплело. Она, действительно, чем-то напоминала мать, эта ласковая, разумная, степенная Хвалёнка. И как это горько, что она вдруг отдалилась от Феди, стала наполовину чужой...

## 9.

Между тем колхозные дела шли своим чередом и, наверное, ни одно из них теперь не обходилось без Феди Бачурина или Мишки Задорного, без Костяхи Крайнего или Вовки Зюзина: в августе, перед Успеньем, взяли в армию сразу шестерых пятинских парней. Следующие на очереди – Федя с товарищами, - ну им еще нескоро, года через три.

Они были ровесники и родились, как пошучивали в деревне, «кучно» – не только в одну осень и чуть ли не в одну неделю. Потому соперничество между ними было всегда: кто первый начал ходить, кто первый закурил... Разом пошли в школу и очень старательно, оглядываясь друг на друга, учились в первом классе, пятерки получали; потом стали покуривать, прогуливать уроки, ходить вразвалочку и в результате все четверо остались во втором классе еще на год. Кое-как перевалились в следующий класс и здесь задержались опять на два года. Хотели и на третий остаться, но передумали – в школу стали ходить исправно, их и перевели в четвертый...

Года за два-три, небось, закончили бы и его, но ведь учебный год у них фактически стал начинаться только в октябре, когда в колхозе выкопают картошку, а кончатся – едва сойдет вешняя вода, то





мать, вернувшись с лесозаготовок, похвалила: «Молодец, Федюшка! Мы – Бачурины, у нас все путем». Потому старался быть порасторопнее, и не раз слышал у себя за спиной одобрение: «Самостоятельный парень». Это было высшей похвалой в Пятинах. То и дело над ним пошучивали:

- Слышь, Федюх! Тебе жениться надо, раз такой деловой – чего ж одному маяться!

- И куда вы, девки, смотрите: глядите-ко, какой жених подрост! Теть Огашина Валька приставала:

- Федь, а давай поженимся, а? Тебе сколько годков-то? Ага, пятнадцать! Ну, я маленько постарше – это ничего, верно? Ты и не целовался, небось, ни разу? Не горюй, Федя! Я научу.

Потому она так задирала его, что известно же было: есть у нее жених. Небось, скоро свадьба.

А Феде до шуток ли? Материны слова звучали в ушах, как предостережение: «Зима, сынок, строго спросит». И он знал: да, спросит. Не пощадит зима, ее не умолишь, не умилоставишь, а значит, надо быть хозяином. Вот почему он работал неутомимо, и вид имел самый деловой, озабоченный: этак все оглядывался настороженно, будто из-за горизонта вот-вот навалит туча. Ее еще не видно, но она придет в свой черед, к ней надо готовиться загодя – не та туча, из которой бывает дождь, а другая, перед которой не дрогни, иначе пропадешь.

К вечеру бурт закрыли, по дворам полученное на трудодни развезли. Федя с работы явился уже в сумерках, когда пошел дождь. Ту картошку, что привез Вовка Зюзин еще днем и вывалил у бачуринского крыльца, оставлять на ночь неубранной никак было нельзя: куры уже расклевали несколько крупных картофелин. А погонят завтра доярки коров колхозных на водопой – те, чего доброго, отполовинят от этой кучи; или ночью украдет кто-нибудь – пусть не свои деревенские, а проезжающие мимо. Вон тот же Зюзя однажды на столб палисадника вожжи повесил вечером – утром их не было, исчезли. А уж такую вещь свои деревенские не украдут – тут каждые вожжи знают «в лицо», как знакомого человека. А еще: вдруг морозец утром ударит – ахай потом! Уже октябрь, того и жди морозов...



картошка – в подполе, капуста – в сених, под лестницей на чердак. Дрова с задворок перетаскал под крышу. Возле дома ничего беспризорно не валяется – ни клока соломы, ни полена. Если б вернулась мать, непременно похвалила бы, увидев общий порядок. Он надеялся, что ее отпустят на денек, на два, что она подгадает к колхозному празднику.

## 10.

Готовясь к этому празднику, председательница запасла муки – для пирогов и ватрух; где-то раздобыла манной крупы – значит, манник будет, нарежут его кубиками; еще будто бы достала она сухого компоту – для сладкого супу... О всех ее удачных приобретениях становилось известно в деревне, но говорили об этом потихоньку, как о деле тайном или, по крайней мере, деликатном (проявлять слишком большой интерес тут не к лицу кому бы то ни было). Накануне назначенного дня зарезали колхозного поросенка и пару колхозных куриц: год-то непростой – война закончилась.

Еще за неделю до того поставили брагу для самогонки. На этот раз важное самогонное дело в знак полного доверия было поручено Степану Гаранину; он уединился в собственном вишеннике и весь день оттуда дымок курился. Иван-безрукий и Иван-безногий завистливо вздыхали, но председательница сурово хмурилась и строго следила за тем, чтобы в вишенник к Гаране никто не ходил, а знали бы все только свое дело: возле амбаров заставила веять семенное зерно, под навесом бабы колотили лен.

И вот на следующий день в избе у Зюзиных – у них изба хоть и старая, но самая поместительная – с раннего утра забегали, захлопотали стряпухи. Вовка Зюзин дежурил возле своего дома – его посылали то туда, то сюда с разными поручениями, и ему кое-что вкусное явно перепало, а что именно, он, гад, про то помалкивал, только посмеживался, себе на уме.

В середине дня позвякали в рельс – не сильно и размеренно, как на работу, а этак часто-часто, с баловством.

Не сказать, чтобы Федя любил этот праздник, который устра-

ивали каждый год по окончании полевых работ. С одной стороны, конечно, неплохо – поесть чего-нибудь этакого: домашняя-то еда однообразна да и, чего говорить, незавидна – картошка вареная или жареная, пареная свекла, молоко... И все. А тут не какие-нибудь пустяки – лапша куриная или щи со свиной, ватруха с творогом или пирог с капустой. И все-таки... неловко было и как-то совестно есть на людях, поэтому в прошлые годы, когда их, мальчишек, сажали с краю самого дальнего стола, Федя больше стеснялся, чем радовался. Просто даже не до еды было от неловкости.

Но нынче-то он понимал: все изменилось! Чем он отличается от взрослых? Весь год работал, не уступая никому, так неужели посадят вместе с мелюзгой! Он имел право – полное право! – сидеть за главным столом, а не где-то с краю. Тут не еда важна, а почет тебе оказанный. Пусть вспомнят, кто минувшей зимой возил навоз? Кто весной боронил? Кто летом опаживал картошку, косил луга и сушил сено? Кто работал на жатке, возил снопы, клал скирды? Наконец, кто по осени таскал мешки с зерном да с льняным семенем на собственном горбу? Разве не он, Федя Бачурин? Может быть, у него меньше мозолей на руках, чем у того же Степана Гаранина или у кого еще? И раз так, то... на чужое не заримся, а своего не уступим.

Когда зазвонили в рельс и народ стал собираться возле Зюзиных, Федя пошел туда якобы нехотя, нога за ногу и этак хмуро. А сердце замирало.

Напрасно он волновался: нет, о нем не забыли. Едва явился к зюзинскому дому, позвали к столу и посадили не с мелюзгой, а в самый перед. Усадили, конечно, не его одного, а всех четверых: и Вовку Зюзина, и Костяху Крайнего, и Мишку Задорного.

- Вы, ребята, садитесь вот сюда. Нынче вам почет и уважение, - распорядилась председательница. - Раз взрослые-то парни в армию ушли – на вас теперь главная надежда.

- А мы? – сказал Иван Субботин и браво повел плечами (при одном плече рукав пустой). – Чего нас в расчет не берешь?

- Вы – одно название! – зашумела застолица весело. – Вас и на племя нельзя держать: наделаете ребятишек безруких да безногих. Теперь вот Федюшка с Костяхой да Мишака с Вовкой – они мужики.

На столе стояли миски с куриной лапшой и мясными щами – от запахов голова кружилась. Студень был навален кубиками; селедка соленая тут же, рядом... Федя с воодушевлением оглядывал стол: ого, забогатели! Вспомнил мать: он-то тут сидит за праздничным столом, а она-то в лесу... на морозе... Может быть, ничего не ела с утра.

«Надо будет ей что-то послать, - подумал он. – Завтра схожу в Ергушово, узнаю...».

Разобрали ложки, куски хлеба, налили в стаканы... Кто-то сказал, что ребятам нельзя пить, пока не женятся. Другие возразили: ничего, мол, один-то раз в год да немного – можно. Дарья Гурова, сидевшая, как ей и полагается, в красном углу, встала, стукнулась головой о божницу (ростом она ничего себе), немного ссутулилась и сказала речь. О том, что мы победили проклятую Германию, что поставки хлеба государству колхозом выполнены и перевыполнены; что предстоит нелегкая зимовка для скота, кормов заготовлено столько-то, однако же маловато; и мол, спасибо партии и правительству: проявляют заботу о колхозниках – выдано столько-то на трудодни. Заключила она тем, что предложила выпить за здоровье великого вождя всех народов, вдохновителя и организатора наших побед.

Федя однажды уже пробовал самогон – за Ощепковой ригой было дело; Мишка Задорный отлил в бутылку где-то у кого-то и принес. Пили по очереди и делали вид, что нравится. А уж противно-то было! Слава богу, нынче налили в рюмки, а вот Гаране – полный стакан; он опрокинул его в рот одним махом, прикрикнул и стал тыкать вилкой, взял селедку за хвост, лихо разорвал ее вдоль по хребту, половину протянул Феде:

- Вот так надо действовать. Понял, Федюха? Ешь.

Тут как раз перед председательницей поставили тарелку с только что испеченным – с пылу, с жару! – замысловатым кренделем, увидев который весь стол грохнул от смеха.

- Бессовестные вы, бабы! – заругалась Дарья. – Да разве ж можно тесто на такую срамоту тратить!

Но ругалась не со зла, просто для порядка.

Никак не мог успокоиться стол. Федя оглядывал смеющиеся

лица, и ему в эту минуту особенно было ясно, как он всех любит, какие все веселые, хорошие. Вот же они посматривают друг на друга и на него, Федю, черпают дружно ложками из общих мисок, да и его угощают. То и дело слышится:

- Ешьте, ешьте, ребята! Али не нравится наша стряпня? Неуж не угодили?

- А ты чего модишься, Федюха? Небось, не девку сватать пришел – у нас праздник колхозный.

- Гляди, парень: кто мало ест, тот плохо работает.

Федя сидел в простенке между окнами. У него под локтем плющили носы об оконное стекло ребяташки с улицы; лица у них веселые, покрасневшиеся – на улице уже морозно, лужи стянуло льдом... Когда-то и он плющил нос о стекло, а теперь вот поглядывает на них свысока: не горюйте, мол, ребята, вас накормят попозднее, во вторую очередь, но не хуже.

А за столом уже запели «Когда б имел золотые горы», по-том «По Дону гуляет казак молодой...», потом «На Муромской дорожке стояли три сосны».

«Как хорошо! – думалось Феде Бачурину. – Я и не думал, что будет так весело... Цыганка гадала, за ручку брала... Это у кого такой голосище? У Вальки Огашиной...».

И он тоже стал подтягивать:

Что стоишь, качаясь,  
Тонкая рябина,  
Головой склоняясь,  
До самого тына?

В распахнутой двери, куда то и дело зачем-то выходили те, что подавали на стол, мелькнуло вдруг встревоженное или даже испуганное лицо сестры. Чего это она явилась? От Селиверстова не ближний путь. Лидия что-то сказала одной из стряпух и махнула ему рукой: выйди, мол. Легко сказать, выйди! А как? За столом сидели плотно, выбраться можно только если под столом. Федя в ответ: погоди, мол. Степан Гаранин выпил еще стакан, закусил и взял в руки гармонью, кто-то уже вышел плясать.

Федя выбрался из-за стола – Лидии не было. Веселый, напевая, зашагал домой. Сестра ждала его, сидя на лавке, зареванная.

- Мама умерла, Федюшка...

Он проговорил вслед за ней, будто разом деревенея:

- Как это умерла?..

Лидия сквозь рыдания:

- Мне знать дали – я в больницу... а врач говорит... сердце у нее слабое, надсадилась...

Федя бесчувственно сел рядом с сестрой – словно обожженный молнией и оглушенный громом.

## 11.

Наследство, оставшееся от матери, а вернее сказать, от родителей, брат и сестра Бачурины поделили вскоре после похорон. Может быть, и не было бы такой спешки, но зять своими хлопотами поторопил: он не делить хотел, а просто забрать все себе, поскольку не считал Федю наследником; мол, еще мал.

Сначала зять приехал один и увез сундук из горницы, в котором лежали половики, бабушкина домотканина, материна сряда; прихватил и кое-что из обихода хозяйственного – двуручную пилу, две крепкие деревянные бадьи... Феде в тот день дома не было: работал. Пришел домой – тут уже похозяйничали: забрали все, что могли увезти.

Через день Завьяловы приехали вдвоем, и, пока брат и сестра разговаривали, зять оглядывал дом, зачем-то простукивал стены, время от времени выходил во двор, где блеяли овцы и копошились куры; залез на чердак и пробыл там довольно долго, потом заглянул и в подпол. Виктор Завьялов будто искал что-то или приценивался ко всему.

Федя поглядывал на него настороженно, да и на Лидию тоже: что-то слишком молчалива. Она очень изменилась с тех пор, как вышла замуж, не только внешне, но и характером. В этот раз Федя заметил, что сестра беременна.

- Как же ты теперь? – спрашивала она брата.





Завьяловы переглянулись, зять – насмешливо, сестра – непонятно как.

- Тебе не только домом, еще и коровой хотелось бы владеть? – фыркнул Завьялов. – Где это видано? Может, в вашей деревне бывало такое, чтоб парнишка-малолеток имел дом и двор со скотиной? Или ты слышал, чтоб где-нибудь в округе?

- Но я сам умею доить! И сена заготовил на зиму.

- Сено мы тоже увезем, - отвечал зять. И, засмеявшись, повторил. Передразнивая: - Доить умею... Ишь, губа не дура! Любишь молочко-то?

Лидия осуждающе посмотрела на мужа, хотя видно было, что у них заранее все обговорено.

- Тогда я пойду, приглашу Дарью Гурову, - заявил Федя.

- Кто это? - насторожился зять.

Лидия подсказала тихонько:

- Председательница.

- А-а, Голопузиха...

- Она скажет, что можно брать, а чего нельзя, - голос Феде звучал уже уверенно.

- Ее дело постороннее, - сказал Завьялов, раздражаясь. – Хозяйство наше, не колхозное – что хотим, то и делаем с ним.

- Она велела: пригласи, мол, меня, если понадобится, - соврал Федя.

- Мало ли что она прикажет! Мать оставила нам дом и скотину. Ты хочешь все себе забрать? Гляди-ка, только с виду дурак, а так-то себе на уме.

- Гурова пусть рассудит, кому что, - твердо сказал Федя. – И тетя Огашу приглашу, она мне крестна.

## 12.

И было дальше так: пришла Дарья Гурова с Огашей Аве-риной, а еще явился подвыпивший Степан Гаранин, которого никто не звал. Совместным судом постановили: все движимое имущество и живность, то есть половину коровы Хвалёнки, овец и кур («Можете и



- А через линию фронта ты ходил? Ну вот, а я ходил столько раз, сколько ты на горшок.

- Я Хвалёнку не продам, - заявила тетя Огаша. – Возьмите в счет своей половины телочку...

- Какая телочка! – возмутился Завьялов. – Это ж теленок. Он телочкой-то станет только через год.

Они стали торговаться: сколько надо дать за полкоровы, сколько стоит сено, заготовленное Федей... Даже о дровах зять заикнулся, но его пристыдили.

Потом зять долго и старательно укладывал на телеге связанных овец, установил корзину с курицами и, наконец, тронул со двора, не прощаясь; Лидия пошла сзади.

### 13.

Опустел родной дом, ушла из него родная душа. Раньше домой придешь – то петух кукарекает, то овцы застучат копытцами, то корова стукнет рогами в загородку или в ясли. Теперь тихо, пусто, мертво.

Уже наступила зима.

Хлебные запасы Феде уменьшились вдвое: приезжал Завьялов, да и не один раз, и все получалось, когда хозяина не было дома – вместе с сеном увез мешка два или три картошки из подпола, и мешок ржи, и весь овес. Мало того, еще и теплое ватное одеяло прихватил, и четыре новенькие тесины, стоявшие во дворе, и наверняка что-нибудь еще, что хозяин не сразу углядел...

Федя очень остро ощущал опустелость своего дома. Только работа успокаивала, и он набрасывался на нее жадно, каким бы усталым ни был. Как только подступала тоска к сердцу, а слезы к горлу, искал глазами, за что бы взяться. «Мне сидеть сложа руки негоже, - говорил он сам себе. – Это другим можно, а мне нельзя».

Решил смолоть всю свою рожь – у Никишовых ручные жернова. Каждый вечер, а то и по ночам погромыхивали они в Никишовской подклети, охотников смолоть было немало, оче-редь выстраивалась. Вот и Федя дождался своей очереди.

Нижний жернов толстенный, укреплен в кряжистом чурбане; а тот, что сверху – потоньше, и ручка в нем деревянная, гладкая, отполированная десятками ладоней. Сначала Федя молот, то и дело оставившаяся, чтоб сыпануть горсть зерна в горловину посреди верхнего жернова, а потом приноровился, успевал левой рукой бросить эту горсточку, пока правая делает круг, вращая жернов.

Молот в темноте, не один, кстати сказать, вечер, и по окончании работы каждый раз на ощупь аккуратно обметал оба жернова со всех сторон куриным крылышком, которое служило тут не один, наверно, год; досадовал, что какая-то часть муки просыпается мимо жестяной загородочки, не соберешь.

А вот хлебы испечь он не мог. Варвара Никишова предложила ему, чтоб приносил муку ей, а уж она испечет, но Федя не согласился, опасаясь, что она отсыплет себе мучки или прижудит малую коврижку. Пятилетний сынок ее Боречка даром, что возрастом мал, а поест горазд – это всем известно. Один с коврижкой управится, не успеешь глазом моргнуть.

Собственно, испечь не так уж хитро, а уметь бы тесто замесить... В первый-то раз хлебы затворила в его собственной бачуринской квашне крестна. Федя за ее действиями следил внимательно: в следующий раз, небось, придется самому все это делать.

Хлебы испекли, и он берег потом каждую буханку: ломоточки отрезал ревниво, скупясь, а отрезав, уносил остальное в горницу и запирает на два оборота ключа, а ключ-то уж теперь прятал подальше, чтоб не нашел Завьялов, любитель шмонничать в избе, когда хозяина нет дома.

Во второй раз хлебы затворила сестра. Она пришла проведать брата; вспомнили они мать, и Лидия плакала, роняя слезы в квашню.

## 14.

Стук в окно разбудил его, казалось, среди ночи. То есть темнота была именно ночная, глухая. Босой, по ледяному полу Федя подбежал, отозвался тоже стуком: так договорились – Вовка Зюзин будит, когда идет мимо к конюшне. Зюзе-то хорошо: мать всегда вовремя

поднимет и горячим в дорогу накормит. А коли живешь один, кто разбудит?

Он вернулся к кровати, сел, поджимая заголодавшие ноги: начинался еще один день, которому он был не рад. Сейчас идти на мороз, запрягать Серуху, потом долгий путь... Да будь оно все проклято! Согласен не есть, не пить, лишь бы лежать и лежать... в теплой-то постели.

Федя встряхнул головой, как задремавшая лошадь, которую укусил слепень, и стал одеваться на ощупь; то есть спал он одетый – в штанах и рубахе; теперь же поверх надел еще одни штаны и ватную фуфайку. Снял с печи валенки, обулся – сыроваты, не просохли после вчерашнего – это в конюшне наступил на мокрое. Хотелось зажечь лампу, но жаль спичек: последний коробок, да и тот неполный. Лезть в жараток да искать уголек – разве найдешь! Кабы топил хорошими дровами, а то хворост да ольховые палки, они перегорают в золу, углей не остается.

Сел к столу, на ощупь достал из стоящего тут чугунок две картошины, очистил, нехотя пожевал, макая в кучку соли на столе. Также на ощупь отрезал ломоть хлеба, оставшуюся краюшку накрыл перевернутым чугуном, чтоб Мырзя не подобралась. Подумал: может, побережь хлеб и вместо этого ломтя взять кусок льняного жмыха? Он как сухарь, его надолго хватает, чуть не всю дорогу – грызешь и грызешь. Но разве сравнишь его с хлебом! Недаром льняной жмых зовут еще и так, то ли насмешливо, то ли презрительно: «дуранда».

«Ладно, завтра возьму кусок дуранды, а нынче побалую себя».

Уже у двери подпоясался туго веревкой и вышел на улицу. Скрипя промерзлыми половицами крылечка, запер наружную дверь на висячий замок и зашагал вдоль улицы.

Луна стояла высоко, и была она в радужном ореоле – ну, денек будет нежаркий, сразу видать. Намерзнешься. Возле конюшни чья-то тень показалась – может, все уже запрягли и ждут его? Федя прибавил шаг, даже побежал, тем более, что и морозец подгонял.

Нет, возы, наложенные и увязанные с вечера, по-прежнему стояли возле конюшни, и никого из возчиков возле них не было, значит, они еще в конюшне.

Приоткрыл ворота, пролез в образовавшуюся щель, услышал знакомые голоса в темноте, храп лошадей, выводимых из стойл, стук их копыт о порожки, свет керосинового фонаря в руках у кого-то.

- Н-но у меня! – строжил своего Горбатого Вовка.

Он маленький, Зюзя, а Горбатый – мерин с норовом. Ты ему хомут на шею, а он голову вздергивает вверх, не дается. Зюзя подводит Горбатого так, чтоб вставши на перекладину загородки, изловчиться и надеть, а Горбатый отступает.

- Морду набью! – орет Зюзя.

- Здорово, - сказал ему Федя голосом хриповатым, на какой стал с некоторых пор сбиваться то ли от простуды, то ли еще от чего. – Давай помогу.

Все-таки Федя-то ростом повыше Зюзина. Вдвоем – один держал Горбатого за гриву, другой надевал хомут – справились.

Стойло Серухи крайнее. Федя надел оброть на лошадиную голову – Серуха вздохнула покорно, дыхла на него теплом. Вот лошадка так уж лошадка! Она попусту шарахаться не станет. Она и голову угнет пониже, чтоб Феде удобней было, и потом, уже на улице, сама встанет в оглобли.

Выводили лошадей из конюшни, запрягали, подгоняя запоздавшего Мишку:

- Не проснулся еще?! Ждать не станем!

Четыре воза с льняной трестой отчалили от конюшни, выписывая на снегу плавную дугу. Отдохнувшие лошади побежали ходко, пофыркивали бодро. Возчики перекликались. Дорога тут ровная, накатанная – Федя зарылся в снопы, сберегая тепло. Если б не ветерок, жить можно было бы, но он, стервец, упорно добирался до тела. Пальцы ног уже не просто зябли, а прямо-таки деревенели; и руки в варежках тоже. Пришлось соскочить и бежать за возом, а тут как раз передние стали настегивать лошадей, Серуху понукать не надо, она не отставала; Федя бежал долго и устал настолько, что едва влез на воз. Зато согрелся, да и Серуха поглядывала на него весело то одним, то другим глазом. Временами ему казалось, что она жалеет его, Федю. Наверно, за то, что знает: сирота. Вот такая лошадь – как человек. Да что! Иной и человек не столь понятлив.

Об этом и размышлял Федя, сидя на возу и лишь изредка подергивая вожжи.

Въехали в лес, стало безветренно. Деревья стояли безмолвно, словно прислушиваясь к тем звукам, что сопровождали пятинский обоз: скрип полозьев, фыркание лошадей, редкие возгласы возчиков. За лесом – через поле – к реке.

Теперь хоть у реки не стоять – переехали по льду. А при паромной переправе каждый норовит без очереди пролезть – скопятся тут и ергушовские, и баулинские, и тиуновские, и еще черт-те какие – крик, ругань, каждый каждому в морду норовит захватить. Парня из Баулина ножом пырнули... и такое было.

Теперь вот очередь только у льнозавода – выстроились длинной вереницей на приемку, и это нескорое дело. В стороне – костер, толпятся возле него человек восемь. Пятинские подошли погреться, а следом девки незнакомые – их попихивали, они отругивались. На одной из девок от искры задымился ватник, она заругалась, подружки затирали тлеющее место снегом. Смеху было!

Весело-то весело, однако час шел за часом, а очередь продвигалась медленно. Лошади заиндевели, зябли. Федя спрятался за свой воз, добыл из-за пазухи хлеб, пожевал. Скоро, что ли, примут тресту? Греясь у костра, опять затеяли возню, и вот тут Федя как-то не углядел – прожег валенок, прямо-таки насквозь прожег! Спохватился поздно. Расстроенный отошел к Серухе. Теперь ветер задувал в самый носок и снег туда же сыпался – вот еще забота! Федя напихал в него сена.

Слава Богу, явилась контролерша, выдернула из трех сторон из каждого воза – сзади и с боков – по снопику, чтоб определить качество, через некоторое время указала, к какой скирде подъезжать.

Скирды из льняной тресты на территории завода огромные. Перекидать на них воз – работенка не из легких, одним или даже двумя возами сюда нечего и ездить – не сдать: нужно не меньше трех человек. Распределились так: Федя кидал с воза на подмости, Мишка стоял на подмостях и кидал Костяхе Крайнему, влезшему еще выше на лестницу, а уж Костяха – Вовке Зюзину, он на вершине скирды с каким-то мужиком.

Ну перекидали, расселись по пустым саням, засвистели, закричали, погнали – к дому, к дому.

А уж смеркалось. И морозец окреп. Федя то и дело соскакивал, бежал за своими санями, выбиваясь из сил, но стоило только сесть, как морозный ветер опять выдувал тепло. Опять соскакивал и бежал, прихрамывая – клочок сена торчал из носка.

Как же теперь? Зима только началась, а уж обувка худая.

## 15.

Валенки Феде сваял прошлой зимой Степан Гаранин, тогда только что пришедший с фронта. Вернее даже не с фронта, а из госпиталя. Минные осколки, которыми он был и перепахан, и заборонен, и засеян, время от времени этак «всходили» из него, как всходят посеянные зерна – острыми росточками из земли: то есть вдруг на теле Степана появлялся нарыв, к которому он прикладывал подорожник или лопух, а потом, через какое-то время, морщась и ругаясь от боли, прихватывал обкуренными ногтями острое жало очередного осколка, вырывал.

Но так было потом, а вернувшись домой, сначала-то с месяц лежал в постели, потом встал и напился пьян. В пьяном состоянии бузил, кричал, принародно сорвал с себя рубаху и спустил штаны – и те, кто видел взборожденное страшными шрамами тело Гаранина Степана, содрогнулись от ужаса и жалости и простили ему бессознательное поведение: грудь его была вспорота, перехлестнута багровыми шрамами, и живот, и спина, и ноги... Набузившись и накричавшись, он долго плакал, потом добыл бережно хранимую женой гармонь и горланил на всю деревню:

- Бывали дни веселые:  
Я по три дня не ел.  
Не то, чтоб хлеба не было,  
А просто не хотел.

Он и раньше любил почудить, потому и звали его чаще не по имени и тем более не по отчеству, а кличкой – Гараня. Как до войны,



так и теперь. Кто в этом доме живет? Гараня. Чьи это ребятишки? Да Гаранины. А кто лучше всех валенки валяет в Пятинах? Гараня, кто же еще! Мужичок не бравый, но с фронта принес три ордена; и валяло отменный; и в праздник под его гармошку вся деревня пляшет.

- Тонковаты, - вздыхала мать, щупая новенькую обувку, свалянную Гараней. - Боюсь, Федюшка, живо износишь.

Живо не живо, а уже к весне валеночки пообтрепались на сгибах, подошвы стали подозрительно мягкими, а теперь вот и дырка образовалась под большим пальцем левой ноги. Небось, был бы валенок потолще, так не прожегся так скоро. Винить Гараню, что плохо сваял, или самого себя: зачем не берег? А ведь не берег, верно...

## 16.

Вот как раз в эту пору появился в Пятинах сапожник. Как и в прошлые зимы, он ходил из деревни в деревню, из дома в дом, куда позовут. В Пятинах его, едва вошел, позвали Сентюрины, по уличному – Крайние. Федя зашел к Костяхе, чтоб вместе идти на работу, а у них сапожник в переднем углу, у окна: голова с широченной лысиной, будто начисто выбрита, а на подбородке рыжая щетина; сидит на низкой табуретке, при фартуке, из-под фартука вытянута деревянная нога; лицо круглое, довольное – видно, что и сыт человек, и выспался, и работой не измучен.

Федя сразу притих, но не от робости, конечно, а от интереса: зажав в ногах валенок подошвой вверх, сапожник прокалывал ее шилом как-то ловко, прямо-таки мгновенно протыкал в обе стороны, внутрь и наружу иголками... нет, это у него не иголки, а стальные проволочки... и сильным, резким движением протаскивал суровые нитки туда и сюда; потом, помотав их на кулак, туго затягивал, а затянув, негромко, сам себя слушая, напевал.

Федя сел на лавку – посмотреть...

Такие люди, то есть умеющие что-то делать, и ремесло их всегда остро интересовало его. Вот был в Пятинах Сергей Иваныч Караулов – мог подковать лошадь, натянуть ободья на тележные колеса, выковать лемех к плугу да и сам плуг тоже; он делал топоры и ко-

луны, дверные засовы и тележные курки, ухваты и кочерги. Железо в кузнечных щипцах да под молотком Караулова было мягким и послушным, как тесто, из которого, казалось, можно вылепить что хочешь.

Или вот Игнат Архапов – тот мог собственными руками, без посторонней помощи смастерить дроги и сани, коровьи ясли и детские зыбки, залавки и скамейки; он гнул дуги и полозья саней, вытачивал балясины и ступицы, делал бадьи и лохани, выстругивал наличники и коньки на крышу.

Ремесло того и другого вызывало у Феди зависть. Да, еще маленький был, а уже завидовал.

В кузнице Сергея Иваныча было чадно и грязно, удары молота по наковальне туго отдавались в ушах; а в сарае у Архапова всегда солнечно от стружек, пахло смолой, ветерок гулял. И все-таки Федя, пожалуй, скорее овладел бы кузнечным ремеслом и стал бы кузнецом, хотя больше ему нравилось все-таки столярить. Причиной тому – Сергей Иваныч Караулов; он всегда был весел, приветлив, за работой пел песни, парнишек от кузницы не гонял, а напротив, готов был и показать, и рассказать – таким образом как бы приучал, приваживал к кузнице. Но его взяли на фронт; немного он и повоевал, вскоре пришла похоронка. С того времени стоит кузница холодная и молчит. Некому учить ремеслу...

- Не засти свет, - строго сказал сапожник и, когда Федя отодвинулся в простенок, подмигнул: не дрейфь, мол.

Нитки у него черные, варом смолёные, шило сильно изо-гнутое, блестящее. Вот он легко и точно, словно шутя, опять проткнул пришиваемую подошву, изнутри сапога в эту дырочку просунул светлую проволочку – как она попадала? – ей навстречу нырнула другая, потом – вжих! – черный стежок ровненько врезался в мякоть подошвы в свой черед к предыдущему.

- Пошли, - позвал Костяха.

Федя смотрел на уже подшитый валенок, лежавший рядом на лавке: на заднике аккуратно пристебана кожаная заплатка, толстая подошва словно гвоздиками прибита, и строчки-швы образовывали аккуратный, красивый узор.

- Ну, пошли! – поторопил Костяха, уже поняв, чем именно заинтересовался товарищ, и не разделяя его интереса.

Он вышел из избы, Федя – следом за ним. Только что увиденное повергло его в глубокое размышление. Шагая рядом, он не слушал, что говорил Костяха.

Какое надежное, какое солидное дело – сапожное! Если б он, Федя Бачурин, владел им, разве стал бы о чем-то горевать? Разве мучила бы забота о собственном прокормлении? Да в любой день выйди из дома и отправляйся куда глаза глядят, в любой деревне постучи в любой дом: «Валенки не надо подшивать?» Кому ж не надо, если в валенках ходят все? И работу дадут, и ночевать оставят, и накормят, еще и денежку заплатят. Сапожника норовят кормить по-лучше, чтоб не ославил потом: в этом-де доме жадные. Сапожнику на стол поставят такое, чего и сами не едят, берегут к празднику. Плохо ли? А хитрость невелика – эго, валенки подшить! И всего-то инструмента – нож сапожный, моток льняной дратвы, кусок вару, две проволоочки да шило – в один карман все уместится!

«Погоди, а еще нужна кожа на задники... Ну и что? Да то ли этой кожи нельзя где-нибудь купить! Небось, в городе есть... Вот пойти бы в помощники к этому лысому... Нет, не возьмет. Зачем ему помощник, он и один справляется».

Под оживленный говор Костяхи, шагавшего рядом, Федя уже примерялся: нельзя ли самоучкой постичь это ремесло?

«Подумаешь, невидаль какая! Шило да дратва, да кусок вару».

Но не было у него ни шила, ни дратвы, ни вару. И неведомо, где взять вот хоть бы тот же вар. Не было и тех тонких, блестящих проволочек, что служили сапожнику вместо иголок. Занятие сапожным ремеслом приходилось отложить до лучших времен.

«Отдать ему мои валенки подшить? А в чем ходить буду? На печи у Крайних сидеть, пока он подшивает? Засмеют...»

17.

На другой день опять наклали и увязали воза с трестой, чтоб на следующий везти на льнозавод. Затемно еще, через лес, через реку, где летом ходит паром, в очередь к льнозаводу; грелись у костра, оттирали снегом отмороженные уши и щеки, толкались и пихались меж возов ради сугреву, кидали снопы на высоченную скирду...

Совершенно закоченевшие вернулись, распрягли лошадей и – по домам. Улицей шли – то один отделится, то другой. У Сентюриных-Крайних огонек на окнах, у Зюзиных дымок из трубы, у Курицыных (только у Мишки прозвище Задорный, а вся-то семья – Курицыны) на стеклах окон сполохи огня – печь топят; а бачуринский дом темный, будто мертвый. От вида его еще озяблей стало Феде.

Он долго отпирал заиндевелый замок непослушными от долгой стылости руками, кое-как отпер и пока ступал в снях, шаги его отдавались в душе опять-таки холодом – так пусто и мертво было в родимом доме.

В избу вошел – нежилым пахнуло. Никто не топил печи, никто не зажег огня... Немо и темно. Только одинокий сверчок за печкой подал вдруг свой тонкий голосок и так-то печально да сиром! Прямо за душу взял. Такой вдруг тоской объяло Федю, хозяина этого жилья...

Некоторое время он стоял у порога, со страшной остротой сознавая свое полное и безысходное одиночество, - будто нет соседских домов, а один он на белом свете, криком кричи – ни до кого не докричишься, и весь этот огромный мир чужой ему, чужой.

Он повалился на кровать, обутый, в оснеженных валенках, заголосил, завыл, закричал:

- Ма-а-ма!

Не было исхода, не было утolenия его отчаянию и тоске, никто не мог его утешить. Открылась вокруг пропасть, будто земля разверзлась.

Невероятно, но так: как-то глупо и очень по-детски он всегда надеялся – на что? А что дома ждут его, что выйдет на стук из-за печи мать, скажет: а-а, это ты, Федюшка! Садись за стол, похлебай

горячих щей с морозу-то, назаябся ведь... То есть до самой последней минуты, до того мгновения, как переступит порог, он, оказывается, верил в такое чудо.

- Да что же это? Как же это...

Темная изба молчала глухо, слушала; темень была непоколебимой.

- Не могу я так, один, не могу, - выл, катался, кусая подушку. – Помогите же кто-нибудь...

Из подпола вылезла кошка, хрипло мяукнула.

И спохватился Федя, устыдился невольного свидетеля – Мырзи. Тотчас другой, утешающий, урезонивающий голос прорезался в нем: «Да что же это я... Нельзя так».

И тише, тише становились его рыдания. Некоторое время лежал обессиленно, изредка всхлипывая, будто уснул. Но не уснул, глаза смотрели.

«Нельзя мне так. Кто поможет! Никто, кроме как сам себе...» Мысли выстроились чередой, как воза у льнозавода: «Куда мне? Или я к сестре хочу? Там этот зять дурак... Или меня в детдом заберут? Кому я нужен! Скажут: взрослый уже, пятнадцать исполнилось. Куда меня такого! Может, в ФЗУ? Да, колхоз не отпустит. Да и не хочу я туда! Надо самому, самому».

Встал с постели, как бы встряхнулся, крепко вытер лицо занавеской, попавшей под руку, посидел на лавке, окончательно успокаиваясь. Некоторое время спустя, сходил к соседям напротив, принес угольков, чтоб растопить печку и зажег лампу. При этом старался занять мысли хозяйственными заботами: «Керосин вот кончается, надо на базар ехать... Может, и спичек удастся купить!»

Стал выкладывать в печи дрова, как учила мать – домиком. Лучины нащепал, угольки под лучинами раздул – затопил печку: надо сварить картошки, свеклы...

«Дров мало... Вот придет февраль, будет наст – надо навозить из лесу хотя бы валежнику».

Огляделся – вон на столе очистки картофельные и солоничка стоит, вон чугунок – все по-прежнему, никого не было тут в его отсутствие.

Мырзя потерялась о ногу – то была просьба, но он воспринял, как ласку, и был благодарен ей, все-таки живое существо. Тоже ведь одна живет – на кого ей надеяться? Только на себя.

У нее свой ход из подпола во двор – оттуда ходит кормиться к овину, мышей ловит. Да ведь не всегда ей везет, на-верно! Поди-ка на таком морозе подстереги мышь – небось, заколеешь. Федя отломил ей кусочек хлеба, подумал и добавил еще один.

- Что, соскучилась?

Кошка ничего не ответила, но хлеб съела. Сверчок неумолчно жалобился из подпечка... Помолчал бы уж, без него тошно: завтра – снова накладывать воз тресты; послезавтра – ехать к льнозаводу на заиндевелой лошадке и самому тоже заиндевелому...

Ночью приснилось: провалился в колодец и выкарабкивается вверх, откуда сеет спасительный свет... И продолжение сна: нет, не в колодец провалился, а просто посадили его, как зерно, как семечко, в землю, и вот он, упираясь ногами и руками, растет вверх, где тепло и свет, растет, пробивая головой плотный земляной пласт, а тот сопротивляется, давит на макушку, на темя, однако же поддается...

Проснулся – на темени ощущение той тяжести: ага, голова ска-тилась с подушки, уперлась в деревянную стойку кровати.

## 18.

Нищих стало много: за день проходило их по деревне не меньше десятка. Летом стучали в окно и заунывными голосами скулили: «Христа ради... Мать Божия... пошли вам Господи!» Не слушая, что там бормочут, Федя подавал в открытое окно вареную картошину или кусок хлеба. Теперь же, зимой, если не запрешься, вдруг стукнет на крыльце, и чья-то рука в сенях, слышно, нащупывает дужку избяной двери. И шагнет через порог фигура в лохмотьях, с сумкой через плечо, озябая, кашляющая, хрипящая: «По-да-а-айте милостыню!».

Мать, бывало, ему, мальчишке, не раз внушала: «Милостыни, Федюшка, не жалей. Пока только у нас что-то будет, никому не откажем. Последнюю корку разломи пополам и подай. А как станет,

не дай Бог, самим есть нечего, тогда поклонись, сынок, и скажи так: простите, Христа ради, люди добрые, у самих ничего нет».

Теперь вот, уже зимой, хоть и помнил материн наказ, но не всегда подавал Федя; все чаще без поклона и довольно неприветливо буркал:

- Нету ничего.

- Пода-а-айте, Христа ради, - продолжала скулить какая-нибудь бестолковая нищенка, желавшая продлить свое пребывание в теплой избе.

- Да говорю же: нету ничего! – уже грубо повторял Федя, сам себя ненавидя в эту минуту, и отворачивался.

Иная скажет смиренно: «Спаси тебя Господь» и уйдет. А иная, уходя, прошелестит злобно: «Господь накажет». Но чаще нищенка шмыгала носом, молчала некоторое время и удалялась без слов – это было еще тягостнее. Федя смотрел в окно: куда она теперь? В соседний дом постучалась. Холодно на улице. Кто ее покормит? Где ей погреться? И жалко было... а только что себя еще жалчей.

В Пятинах не все подавали. А вот бабка Ульяна Барыкина, когда жива была, нищих особо привечала: мало того, что покормит, но и ночевать оставит и поможет вымыться. Кое-кто в деревне смеялся над нею за такие причуды, но в семье Бачуриных – никогда. Мать даже как будто завидовала Ульяне. Федя же просто содрогался, представив себе грязного человека – нищего или нищенку – которого отмывают... Нет, на такой подвиг, как бабушка Ульяна, не способна была и его рассудительная милосердная мать. Она так и говорила про себя: «Не по силам мне это... Что не могу, то не могу».

Обычно деревню Пятины посещали знакомые нищие, приходившие во все праздники да и в будни тоже: Анютка-дурочка, толковавшая о своем женихе, который вот-вот на ней женится – «Офисер!». Молчаливая, строгая старуха Павловна, сухая, как палка; двое, муж и жена, из деревни Бельская, ходившие порознь – этих всех в Пятинах встречали, как старых знакомых.

Но вот все чаще стали приходиться дальние, совсем чужие.

Однажды к Феде явилась цыганка в огромной шали, повязанной и на голову, и крест-накрест на груди, и стянutoй на спине узлом,

причем таким образом, что держала и ребенка, маленького совсем. На беглый взгляд она показалась Феде уже седеющей, и он даже удивился, где она подобрала младенца. Потом, когда выпростала из-под шали руки, чтоб принять милостыню, Федя опять удивился: почему у нее такие тонкие и молодые руки?

- Можно мне погреться в твоём доме, дарагой? – спросила она звучным голосом, а сама уже сидела на лавке и не собиралась уходить.

Федя молча кивнул и отступил подальше.

Ребенок подал слабенький голосок, вроде бы, захныкал, она развязала на спине узел, расстегнулась, стала укачивать и кормить его. Федя смотрел в окно.

- Нет ли у тебя одеяла для ребеночка, красавец? – спросила цыганка. – Видишь, сыночек у меня зябнет.

Одеяла лишнего не было – откуда! – но Федя неуверенно потянул с кровати лоскутное покрывало: для ребенка ведь! Цыганка покачала головой:

- Нет, дарагой... Это очень большая и ценная вещь. В другой раз приду, в другой раз возьму. Нет ли у тебя чего-нибудь теплого? Кофты, шапки?..

Федя сглотнул слюну и сказал:

- Нет.

Она усмехнулась:

- Хочешь, пагадаю?

- Не надо, - выдавил Федя.

- Я не на деньги, а так.

Он помотал головой, отказываясь.

- А я все равно пагадаю...

Она удивительно ловко выстелила картами край стола, живо окинула их цепким взглядом:

- Карты, красавец, все знают: что было, что будет, что на сердце лежит. Все вижу, как на ладони. Вот, богатый станешь... только не скоро. Печаль у тебя на сердце – не поддавайся: счастье к тебе придет, может быть, и скоро... Две дороги дальние у тебя, одна под ясным месяцем, другая под ясным солнцем... Клад найдешь – не бери,



беда будет. Кривого человека бойся, с бельмом на глазу... нет, не бойся – добрый человек оказался!

Федя, слушая ее странный напевный говорок, почти не вникал в смысл – какая там дорога! Что за кривой! – только дивился: очень уж у нее тонкие, прямо-таки девчоночьи руки!

- Невеста уже тебя ждет – красавица! – сказала вдруг цыганка. – Вот червонный валет по ней сохнет, а она по нем – нет. Видишь, на тебя смотрит...

Младенец у нее заплакал, и это отвлекло цыганку. Федя одел фуфайку, шапку, давая понять, что он уходит, и чтоб она живо уходила. Цыганка перепеленала ребенка, собрала карты и ушла, сказав на прощанье:

- Летом приду к тебе, жди.

Следом за ней он кинулся задвинуть засов и долго еще сидел, напуганный неведомо чем.

Запереться бы от всех этих нищих и не пускать никого, и не откликаться, когда стучат, но от соседей принесли и повесили на угол его дома доску – знак, что он теперь на целый месяц должен стать десятским: «Ты, Федюшка, такой же хозяин, как все, ну и быть тебе в свою очередь десятским». Это значит, окажись в Пятинах кто-то нуждающийся в ночлеге – будь добр, устрой его к кому-нибудь ночевать. А кто мог оказаться таким образом в Пятинах под вечер? Да те же нищие. Постучат в дверь или окно: «Мил человек, говорят, ты десяцкой...». Ночлег обязан по очереди предоставить каждый дом, и эту очередь соблюдал теперь Федя Бачурин.

Не все-то к другим устраивать поночевщиков – подошла и его, Федина, очередь кого-то принять. «Нищенку не пушу, - решил он, - а то засмеют. Какого-нибудь убогого старичка – другое дело».

Цыганка не сходила у него с ума.

Очень кстати попросился на ночлег Вася Бельский, муж своей жены-нищенки.

19.

Вася Бельский – его за глаза звали так, а сам себя он – только Василием Семенычем и от других требовал того же. Это был толстенный, коротенький мужичок, почти уже старик, поскольку реденькая щетинка-борода была с сединой. В бачуринском доме он сел на лавку и сидел смирно, вздыхая; что-то шептал себе под нос, позевывал и почесывался.

Федя топил маленькую печку, собственноручно им сложенную по осени, и тоже помалкивал: нищий не нравился ему, но надо было терпеть.

- Щец нет ли? – смиренно спросил Василий Семеныч.

Вишь, учуял, что щи есть.

Федя не спеша, достал из печи чугунок. Какие щи! Так, квашеная капуста да вода. Однако хозяин с достоинством поставил чугунок на стол, налил нищему отдельную миску, положил рядом две картошины, себе – одну. Больше не было.

- Хлебушка, - вздохнул Василий Семеныч, будто напоминая.

- Нету, - кратко и сурово сказал Федя.

Хлеба, действительно, не было у него. Муки оставалось еще на одну квашню, то есть не на полную, конечно, – на пару ковриг, не больше, и он намеренно не спешил печь новый хлеб. Последняя квашня – это как выйти на край обрыва, дальше – пропасть.

Нищий хитренько улыбнулся, не спеша полез в свою сумку, добыл два довольно больших ломтя, один положил перед Федей, сказал вдруг окрепшим голосом:

- На вот милостыньку тебе... - и добавил: - Бедно живешь.

- А ты богато? – обиделся Федя.

- Небогато... но лучше тебя. Ешь, может еще кусок дам.

Федя в сердцах отодвинул от себя хлеб, но, подумав, взял-таки и стал есть: с утра тешил живот пареной свеклой да вот этими щами. И то сказать: сколько он передавал нищим! Еще надо разобраться, чей это кусок.

- Я знаю, ты совсем один, - вздыхал гость, кротко поглядывая на хозяина. – Плохо одному. Мой тебе совет: походи по деревням, что-

нибудь подадут. Мир не без добрых людей.

- Еще чего! – отозвался Федя и презрительно посмотрел на нищего.

- Тогда помрешь с голоду. Ведь до лета еще далеко.

Федя пожал плечами.

Выхлебали щи, Василий Семеныч откинулся спиной к стене, разговорился:

- Вот ты, небось, думаешь про меня: нищий, мол, бродяга... Ну и что? Пусть так. Зато куда хочу – туда иду. На мир смотрю. Интересно! Другие и хозяева, а бьются, как рыбка об лед. Возле дома да возле скотины, да на поле... Зачем биться? Разбогатеть хотят. Все жадность человеческая... А много ли человеку надо? Одинако все умрем, и нищие, и богатые.

Федя глянул на него и промолчал.

- А я иду себе от деревни к деревне, - продолжал гость, - иной раз песню пою. Конечно, зимой плохо: и холодно, и ночи длинные, темные. Зато летом-то как хорошо! Ветерок травку колышет, птички поют... Ночевать можно и под стогом, и под елкой. Бог даст день, даст и пищу. Я как птица...

И долго эта «птица» так вот напевала, не забываясь, слушает ли ее Федя. Даже потом, когда забрался на печь, Василий Семеныч и оттуда невнятно продолжал говорить. Как в какой-то деревне подали ему теплых ватрух, а в другой - пирог с грибами; а то однажды посадили за свадебный стол, и он съел целую тарелку студню.

И заключил, уже засыпая:

- У Бога всего много... Он даст милосердия людям, а люди дадут мне, Василию Семенычу, и пристанище, и хлеба кусок... Вот так-то, парень. Я не глупее иных прочих, не думай.

И смутил он, признаться, Федину душу, смутил. Хозяин дома лежал и думал: оказывается, можно жить гораздо легче, почти ни о чем не заботясь, – ни о доме, ни о еде. И никто не станет посылать мерзнуть с трестой к льнозаводу. Ради чего он работает ежедневно и круглый год? Пашет, боронит, таскает мешки... Ради трудодней? Да разве Вася Бельский по куску насобирает меньше? Надо только... переступить какую-то черту, запретную межу. Сказать себе: это не стыдно, не плохо – напротив, хорошо.

Одно только, пожалуй, внушало сомнение: всю-то ночь умничицей простужено кашлял и стонал: знать, не от хорошей жизни.

## 20.

Вот теперь, когда последняя мука ушла в тесто, а тесто стало последней ковригой хлеба, а коврига та съедена, опустевший архаповский дом словно бы придвинулся к бачуринскому, придвинулся в зловещем молчании. Федя постоянно ощущал это мертвящее соседство. В подполе оставалось несколько ведер картошки, но ведь это на семена! В кадке на доньшке – немного мерзлой капусты (приходилось вырубать топором), на постные щи; еще удалось добыть несколько пластиков дуранды, сушеная свекла в мешочке на печи – вот и все съестные запасы, надолго ли их хватит?

«Шевелиться надо!» – звучал Гаранин совет.

Федя не очень ясно представлял себе, что именно хочет предпринять, но так рассчитал, что если уйти куда-то подальше от своей деревни, где его никто не знает, то можно просто попросить поесть. Как это делает Василий Семеныч из Бельской: постучит в окно палочкой или просто зайдет в избу... А избу надо выбрать побогаче, и чтоб день был праздничный, когда в таких домах пекут пироги и ватрухи. Совестно, конечно... но ведь за минуту-другую стыда можно получить ломоть хлеба... или даже сдобное что-то. Неужто не повезет? Повезет!

Он встал пораньше, еще затемно, потуже подпоясавшись поверх ватной фуфайки веревкой и по звонкой, промерзлой дороге отправился в сторону, обратную той, куда вышла замуж Лидия.

Когда забрезжил рассвет, прошел Тиуново. Над некоторыми крышами стояли столбы дыма, но деревня казалась безлюдной. Женщина торопливо побежала по тропочке с сугроба на сугроб, дуя в руки. Нет, догадался путник, это она не руки греет, а несет уголек от соседей, свою печь растопить: тоже спичек нет, как и у него, у Феди.

Прошел еще одну деревню – это Матреновка. Тут он тоже ничего не предпринимал, тут его могли знать.

Уже совсем рассвело, а он все шагал и шагал, отворачивал лицо от легкого, но колючего ветра. Когда взошло солнце – снега заблестели, будто отглаженные рубаночком. Федя свернул с дороги – ого! Наст был так крепок, что выдержит, небось, не только человека, но и лошадь с санями: значит, пора позаботиться о хворосте, иначе на будущий год останешься без дров.

В животе было пусто, то есть совершенно пусто, просто ничего, ни крошки. Даже голова кружилась от этой пустоты. И отчаянно мерзла нога в прожженном валенке.

В деревню Верхняя Луда вошел – уже оглядывался: что делать? Не зайти ли в этот дом? Или в этот? Что-то страшно... Сам не знал, почему вдруг воочию ясно стало, что зря он, пожалуй, затеял этот поход. Вон из дома в дом нищенки ходят. Каково тут просить милостыню! Прогонят. Скажут: много вас таких, побирушек!

Дальше, дальше...

Еще одно селение, занесенное снегом. Женщина у колодца черпала воду. Федя спросил у нее совсем не то, что хотел спросить:

- Как деревня ваша называется?

- Баулино, - отвечала та.

Вот оно какое, Баулино. Никогда тут не был, только слышал о нем.

- Щеку-то потри, чудной! Щека-то побелела.

Федя на ходу потрогал задеревневшую щеку и стал растирать снегом. Так, растирая, вышел из Баулина навстречу солнцу. Следы санных полозьев на дороге зеркально отсвечивали. Сколько же можно так шагать? Пора решиться.

Наконец показалась впереди деревня, где уж точно его никто не мог знать. Он немного умерил шаг, проходя мимо ко-ровника и телятника; хотел было туда зайти погреться, но не решился. Ужасно огорчило его то, что и в этой деревне по одному и другому посаду шастали порознь две нищенки. Одна – старушка сухонькая, с корзиной грибной, беспрестанно крестившаяся; другая – тоже старушка, но помоложе, одетая очень бедно, в рванье и с холщевой сумкой на боку.

Нищенки были Феде куда как некстати. Не потому, что он тоже задумал выпрашивать милостыню, а потому что... да уж чего там, и он, выходит, не лучше! Еще не хватало, чтоб встретился Вася Бельский, он сразу сообразит, что и почему, - вот будет стыдоба-то!

Федя возненавидел нищенок. Да и самого себя вдруг будто увидел со стороны и горячо подосадовал: нет, не дело затеял. Но голодное брюхо подсказывало свое.

Дойдя до справного дома, возле которого было напилено, но не расколото много дров, он решил: обмел на крыльчке голиком валенки, вошел, плотно притворил за собой дверь, встал у порога:

- Здравствуйте.

Целая семья сидела за столом: мужик в овчинной безрукавке нараспашку, его жена-толстуха с годовалым ребенком на руках и девчонка его, Фединых лет. Чуть позднее вышла из кухонного чулана старуха, сгорбленная, при фартуке.

- Здорово, - отозвался мужик. – Что скажешь?

В доме очень знакомо пахло кислыми щами, но гораздо более радовал аромат свежего хлеба. Федя сглотнул слюну и вместо слов застрявших в горле – «Подайте ради Христа» – выговорил:

- Я это... может, вам нужны колодки для валенок? Если валяете, конечно... У меня есть хорошие колодки, завтра могу принести.

- Нет, не нужны, - крепко, присадисто сказал хозяин.

- А может... например, тубаретку или скамеечку для... корову доить.

- Для корову доить, - передразнили его, - у нас есть.

Девчонка фыркнула в ложку со щами, за что чуть не получила от матери такой же ложкой по лбу. И тут Феде пришло на ум спасительное:

- У вас там дрова напилены, давайте я их поколю... а вы меня потом покормите.

Он еле выговорил последние слова – они никак не хотели сходить с языка. Мужик переглянулся со своей женой, потом выглянул в окно, на гору круглых чурбанов, сказал:

- А что ж, вот переколешь все, отчего и не покормить. Давай, поглядим, какой ты работник.

Федя шмыгнул носом:

- У меня топора нет.

- А как же ты будешь колоть? Кулаком, что ли? – спросил мужик грозно.

Девчонка опять фыркнула.

- Вон возле голбца в углу колун стоит, возьми.

- Украдет еще, Егор, - сказала старуха, ужасно похожая на хозяйина и бровями, и кривым носом.

Федя глянул на нее, ничего не сказал, взял колун и вышел.

Из теплой-то избы показалось, что мороз усилился, но солнце светило по-прежнему ярко, с ним веселее.

Ветерок веял слабенько, но уж как опухнет, так леденит лицо. Большой палец на левой ноге, мерзший всю дорогу, зараза, не отогрелся в избе. Да и руки, оказывается, задеревенели – варежки дырявы тоже! – плохо держали рукоятку колуна. Но то, что хозяйева обещали покормить, а хлеб-то свежий, может быть, даже только сегодня испеченный, ободряло и вдохновляло Федю.

Он окинул взглядом гору чурбанов – то были в основном сосновые и еловые. Немного осины и березы. Начал с сосны, выбирая пока те, что поровнее; ставил на попа, цепко пригля-дываясь к расположению сучков по бокам и по распилу, поправляя, потом замахивался изо всех сил, чтоб с первого же удара обозначить по торцу трещину. Работа была ему знакома.

Из окошка выглядывало лицо весело-сурового Егора и девчонки с глазами то ли испуганными, то ли удивленными. Егор вскоре вышел, закурил на крыльце и, не говоря ни слова, куда-то ушагал, сильно припадая на одну ногу.

Федя колол и колол, все более сердясь. Он всегда сердился во время тяжелой работы и делал это нарочно: злость прибавляла силы. Уже взопрел: шапка сбилась на затылок, пар валил от него... Чувствуя противную, тянущую пустоту в животе и слабость в ногах, сел на один из чурбанов, зачерпнул снега, сунул в рот, глядя слезящимися глазами вдоль деревни.

На крыльце самого большого дома толпились бабы, толсто одетые; через некоторое время они куда-то пошли толпой. Возле ко-

лодца двое парнишек черпали воду – слышно было, как ведро скребет по обледенелому срубу – оба висли на крюку ворота, поднимались на цыпочки, когда крюк оказывался в верхнем положении.

Федя оглянулся на окно – лицо девчонки, красивое, со-страдательное, тотчас исчезло. Он снова взялся за колун.

Беда была в том, что с чурбанами потолще да посучковатей у него явно не хватало сил расправиться. Колун застревал, и Федя натужно, с хрипом вытягивал его. А отступить – как это он отступит? Нужно было вытесать пару клиньев, значит, топор понадобится. Не колуном же тесать!

Хозяйка сошла с крыльца, крикнула: «Передохни, чай!».

Он попросил у нее топор. Она вынесла, потом с ведрами пошла по воду. Вернулась и опять что-то сказала ему, он не расслышал, забивал клин в трещину жилистого толстого комля.

И вот как тут случилось? Топор после удара соскользнул с промерзлого чурбана и угодил в ногу; до живого тела не достал, но – разрубил носок правого валенка.

Федя расстроено пошевелил уцелевшими пальцами, нахмурился и продолжал работать. Теперь будет мерзнуть и вторая нога.

Хозяин подъехал на санях, полулежа на охапке клевера.

- Эй, работник! – сказал он, привязывая лошадь к изгороди.  
– Хватит! Иди-ка в избу, поешь: уже пора, заслужил.

Федя, не отвечая, хрясь по чурбану.

- Пошли!

- Мы как условились... - едва выговорил, вытаскивая зажатый колун, Федя. – Мы условились... переколю все, тогда.

- Потом доколешь, - сказал мужик, уже сердясь. – Иди!

- Не.

Тогда он подошел, крепко взял его за плечо, словно щенка за шкуру, и повел в дом.

- Не... я ж сказал: когда переколю, - сопротивлялся Федя.

Мужик привел его в избу, сам снял с него шапку, бросил на голбец.



- Раздевайся... садись!

Федя покорился.

Ему вынесли шей в глиняной плошке, дали обкусанную ложку и ломоть хлеба. Он сел, мучаясь от смущения, глянул на мужика, на старуху, которая собрала ему на стол. Девчонки, слава Богу, не было видно.

- Откуда ты? – спросил Егор строго.

- Не скажу, - отозвался Федя.

- Ясно... Отец-мать есть?

- Отца на войне убили, мать умерла...

- Та-ак... Веселые дела!

- Какие есть, - буркнул Федя.

- Так что же, побираешься, значит?

- Я не побираюсь! – Федя отложил ломоть в сторону.

Вот тут из чулана вышла девчонка:

- Пап, ну чего ты пристал к человеку!

Никакая она не девчонка – почти девка. Ростом, как Лида. То есть вполне может выйти замуж за какого-нибудь дурака, вроде За-вьялова.

Старуха тоже вступилась:

- Дай ему поесть-то. Чай, работник!

Она засмеялась отчего-то.

- Ешь, ешь, - сказал Егор, словно извиняясь, и стал закуривать.

- Ну и как ты живешь? Где ночуешь?

- Как это где ночую? У меня дом свой.

- С кем же ты живешь?

- Один.

Кажется, ему никто не поверил. Послышалось опять:

- Веселые дела.

Федя выхлебал щи, облизал ложку, встал:

- Спасибо... Сейчас доколю.

- Да чего там! – остановил его хозяин. – Тут дров на неделю, не меньше. Коли будет желание, завтра приходи или послезавтра... А только так думаю, что парень ты дальний, не придешь.

Федя явился через день, и в этот раз дрова кололи вдвоем: Егор,

хромая, подкатывал себе самые корявые чурбаны, а Феде доставались поровнее, потоньше. Девчонка была с ними: складывала возле двора поленищу. При ней Федя старался вдвое.

К обеду они работу не закончили, то есть осталось еще несколько кряжистых чурбанов, но хозяин сказал, что справится с ними сам. Работничка опять накормили и на этот раз дали в руки краюху хлеба – с собой. На околице его догнала девчонка: «Эй, погоди!». Подбежала, запыхавшись, сунула в руки теплый сверток – это оказались две доли ватрухи, положенные одна на другую – и что было силы пустилась назад.

Он уже знал: девчонку зовут Тамарой, фамилия – Казаринова. А деревня – Лари. Больше в ту зиму Федя в Ларях не появлялся. Ну и по миру тоже не ходил.

## 21.

В горнице висел на стене узел с шерстью – это то, что настриг Федя с двух овец, тех самых, что увез Завьялов вместе с курицами. Но узел с шерстью, он, видно, не углядел в полутьме горницы, под потолком. Там килограмма два, даже чуть побольше – хватит на две пары валенок. Да ведь вся эта шерсть – *лицовка*, такая идет на внешний слой, то есть «на лицо». А кто ж из одной лицевки валяет? Нужна *вторина*, то есть та, что похуже, подешевле и помягче – ее вовнутрь. Вот только где этой *вторины* взять? Говорят, бывает, торгуют с рук в Калязине... Но ведь валяльный сезон кончается – весна скоро! – вряд ли привезут теперь на базар шерсть.

Федя еще раз пересчитал деньги. Они хранились в соло-менном постельнике, на котором он спал, - тугим свертком, узлы развяжешь только зубами. На эти деньги, он знал, можно купить пиджак, но не хватит на костюм, или ватную фуфайку, но не хватит на зимнее пальто. Можно купить килограммов пять хорошей шерсти, настриженной с овец, а вот вторины... сколько она стоит, он не знал.

Хорошо примеряться к деньгам, но страшно тратить их: что потом? Остаться совсем без денег – последнее дело.

Взвесив на руке узел, Федя обдумывал так и этак: самому не

свалить; кого-то чужого просить – кто ж будет задаром-то! Конечно, если отдать всю шерсть, например, Гаране – половина ее пойдет на валенки, а вторую он возьмет в уплату. Но этак-то больно просто! Нельзя ли как-нибудь иначе?.. Вот если б ухитриться да свалять собственноручно – одну пару себе, другую можно продать. Таким образом узел с шерстью, в общем-то, бесполезный, во-первых, превратится в валенки, а во-вторых, денег прибавится! Тогда можно решиться на покупку керосина или калош.

Но денежки нужны не только на керосин да калоши: пустым стоял ларь, в котором некогда, в лучшие-то годы было на-сыпано сорное зерно или горох, или льняная головица – для кур. Мешок еще хранил в себе мучную пыль, но был уже старательно вытрясен и теперь сложенный лежал на лавке. Купить бы хоть пуд жита, мешок картошки, меру хотя бы сорного зерна!

Да ведь штаны нужны новые! Сколько же можно форсить в заплатанных! Костяха Крайний на масленице вырядился в темно-синие, суконные – купил в Калязине. Как сделал их с напуском на новые валенки, сразу выровнялся во взрослого парня – того и гляди милаху заведет.

## 22.

Шагая на конюшню или проезжая на Серухе, Федя все чаще поглядывал в сторону гараниной избы. В огороде Степана пролегла по снегу тропочка в вишенник, откуда по ночам наносило дымком: нет, не самогонку гнал хозяин в землянке, называемой «стирухой», он валял... Именно по ночам, тайно, как вор.

Его предупреждала Дарья Гурова: «Имей в виду: застучает милиция – я тебя покрывать не стану! Им известно про тебя все. Они тебя иначе, как спекулянтom и не называют. «Мой грех – мой и ответ», - говорил он председательнице. Ему грозил подвыпивший милиционер: «Ты мне стакан самогонки пожалел – я для тебя тюрьмы не пожалею!». – «Риск – благородное дело, - Гараня ему в ответ. – Поймаешь – твоя взяла. Не поймашь – мое счастье».

А чего не поймать-то? Невелика хитрость: приходи в лю-бую ночь в Гаранину стируху – тут он. Бери прямо на месте преступления. А только что из Калязина в Пятины не ближний путь, и не в одной только этой деревне валенки валяют, а и в Пятинах-то не один Степан вальщик. Вся округа знает это ремесло испокон веку, и всех в тюрьму не пересажаешь, разве что кое-кого для остратки.

Степан Гаранин – мужичок некрупный, в походке вихловатый, с частым говорком, с особенным хитроватым прищуром глаз, считал себя умнее всех. Да и то: кто вернулся с войны на своих ногах и с целыми руками? Он один. Правда, болезни то и дело сваливали его с ног – будто с войны, которая уже закончилась, отодвинулась, долетали пули и осколки мин да снарядов и поражали его, оставляя страшные следы на теле. Едва оклемавшись, он азартно принимался за работу: днем - в колхозе, ночью в земляночке-стирухе. И был расторопнее, а вернее сказать, отчаянней всех, раз ездил с валенками в Москву ли, в Ленинград ли, в Орехово ли Зуево чаще, чем другие.

А как иначе! Когда семья – пятеро детишек малых, да большая старуха-мать, да всегда беременная жена; поневоле станешь отчаянным: если б не валяние валенок, Гаранины давно голодовали бы.

В колхозе определила ему Дарья должность кладовщика, но какая колхозная работа могла прокормить семью? «Воровать-то нечего, да и не умею», - посмеивался кладовщик и шел в свою стируху. Десять-двенадцать пар сделает и – продавать. Возвращался торжествующий, потому что привозил крупки перловой или манной, мучки белой, московские батоны, а то и ситчику, штапелю. У него даже денежки водились, у этого Гарани. А все потому, что валял.

Хоть и под великим страхом, а делу этому обучились в Пятинах даже вдовы – тетя Огаша, Настя Зюзина, Шура Мотовилина. Костяха Крайний хвастал, что под материнским руководством сваял несколько сапогов. Задорный – врет ли, нет ли – сказал, что сваял сам себе пару. Значит, пора и ему, Феде... Но не пойдешь же к бабам в ученики! Нет, надо к кому-то из мужиков идти. А к кому?

У Ивана Субботина в вишеннике тоже стирушка, и тоже дымила по ночам. Говорят, за работой он раздевается аж догола: при одной-то руке приходится помогать и коленкой, и зубами... Нет, к Субботи-

ну в стируху идти неловко. А безногий Иван Никишов не возьмется учить.

- Дядь Степан, я посоветоваться, - сказал Федя, переступив порог Гараниного дома.

Хозяин сидел на кровати, босой, тетешкал ребятишек, держа на коленях сразу двоих. Третий и четвертый бегали по избе, как угорелые. Вся детва гаранинская уставила на вошедшего Федю любопытно недоуменные, одинаковые глаза. То есть такие же, как у самого Гарани. Да и не только у него, а и у старухи, свесившей голову с печи.

Жена Степана, Рая, недавно родившая, качала младенца в зыбке. Федя рассказал про шерсть, которая у него есть, и про то, что хочет сам свалить валенки себе на ноги, и хотя бы одну парочку на продажу.

- Чего ж ты, с одной парой в Москву поедешь? – спросил Гараня. – Или где ты хочешь продать? В Питере, что ли?

Он засмеялся, но, мысленно прикинув что-то, к намерению Феди отнесся вполне серьезно.

- Ты вот что, парень: шерсти прикупи еще – и вторины, и лицовки. Есть денежки-то? Небось, осталось от матери? Ну вот, ступай в Ергушово, к Прасковье Зыкиной, она телятницей там работает. Я ее видел вчера: кое-какие остатки не нашли у нее при обыске, хочет продать. Иди сегодня же, чтоб кто-нибудь не перехватил. Она мне предлагала, да я вот разладился маленько.

Он покачал ногой, ниже колена обмотанной грязной тряпицей: должно быть, рана открылась у него опять.

- Купи, сколько сможешь. Хорошенько расщиплешь, и мы с тобой вместе на шерстобойку в Верхнюю Луду ходим.

- Пособи ему, Степан, - слабым голосом простонала старуха с печи; она не просила, а как бы похвалила сына таким образом. – У Бога зачтется.

- Я не ради Бога, на хрен он мне сдался. Федюшку жалко, - дерзко сказал Степан. – Кому бы другому – нет. А его обучу. Парочки четыре, а то и пять свалает. Верно, Федор Алексеич?

Степан подмигнул весело, но вдруг побледнел: подбежавшая

к нему девчонка споткнулась о половик и ударилась головой о его большую ногу.

## 23.

В тот же день Федя отправился в Ергушово – это недалеко, два километра. Мела сырая метель, дорога едва угадывалась под мокрым снегом; в низинке с обеих сторон проступила ржавая вода: весна близко.

Прасковья Зыкиной дома не оказалось. Он долго топтался возле ее дома, прячась в затишье – замерз! Наконец она пришла и при керосиновой лампе на безмене стала вешать остатки шерсти.

- Будь она проклята, эта шерстёнка! – говорила Прасковья, смахивая с лица злые слезы. – Перепугалась я с нею – страсть. До сих пор, как вспомню, руки трясутся. На прошлой неделе заявили к нам в Ергушово сразу четверо: двое милиционеров, председатель сельсовета да еще какой-то начальник. Вот и пошли по деревне: двое по одному посаду, двое по другому. Идут от избы к избе, вваливаются, не постучавши, и сразу: где валенки, где шерсть – показывай! Обыск... А куда спрячешь, если что есть? Это не иголка – узел-то с шерстью или с валенками. И не летнее время – под куст да в крапиву не сунешь: на снегу все следы видны...

Прасковья подносила безмен к свету лампочки-коптилки, вглядывалась в точки, выбитые на железе: «Вот, гляди, паренек: раз фунт, два фунта... четыре фунта – полтора кило», и продолжала рассказ:

- Сергей Милованов запихнул свой товарец в подпечек, ухватями да вязанками хвороста загородил. Да что! Али они не знают, где искать? Чай, не в первый раз. Едва, Сергей говорит, вошли – сразу в подпечек заглянули. И в горницу, и в сундуки полезли, и в подполе картошку ворошили, и в сено во дворе вилами тыкали. К сестре моей явились – три пары готовых, только сваляла, да две пары только что заложила – она сновалица, сеструха-то, - и шерсти пять кило... Все забрали! Еще и акт составили. Теперь чего ей? Ить, посадят!.. Четверо ребятшек, муж на фронте убитый, не заступится. От немцев загородились – от своих спасу нет.

Она увязала еще один узел, опять щурясь, рассматривала точки, выбитые на безмене.

- Ко мне пришли, я им: нету у меня ничего. И хорошо успела в ясли коровьи спрятать! Сенцом прикрыла, Пестрянка моя стоит, хрумкает. Ну и не пощупали в яслях-то! А если бы... Вот, гляди, парень: это десять фунтов, даже чуть поболе. А ладно уж, четыре кило! Ну вот, они и на чердак шасть, и под кровать заглянули, и в подпол. В подполе залез, паразит, лапой-то в кадушку с огурцами, слышу: ест, хрустит. С похмела, видно! А во двор вышли, глазами-то шарят, у меня сердце зашло. Ну, думаю, найдут: шерсти не жалко, Бог с ней, пусть отбирают, так ведь акта боюсь, суда! Дедушко Трофимыч только ту пару спас, что себе на ноги надел. Остальные отобрали. «А-а, - говорят, - старый черт, ты тут самый главный спекулянт!» А Трофимычу-то нашему сто годов, небось! Он еле-еле, кое-как уж сваял, да и разболелся от этой работы! В стирухе у него котел из печи выломали, колуном разбили... Вот так-то, паренек. Будь она проклята, эта шерстенка! У Ропшиных восемь пар отобрали; у Василья слепого – мешок шерсти; у Офросиньных – четыре пары... Эку облаву устроили на нас, как на зверей! Скажи Степану-то, пусть бросает это дело ко псам. Сколько веревочке ни виться...

Федя уже усомнился: а доброе ли дело затевает, покупая вторину, тратит деньги? Стоит ли заниматься таким ремеслом, если того и гляди в милицейские лапы попадешь? Ведь этак недолго и в тюрьму сесть. Выходит, это все равно, что воровать.

Но отступать было поздно. Решил так: «Ладно, продам Гаране за эту же цену, сам не буду валять». С солидным видом расплатился за товар, подхватил оба узла, увязанные в старые материны шали, и поспешил в обратный путь.

Было уже темно, дорога едва угадывалась; в низинке он сбился с пути, угодил на пропитанное водой снежное поле. Валенки – и прожженный, и разрубленный – тотчас промокли. Из левого край портянки выбивался коровьим языком.

Если не валять, откуда взять новые? Может, купить? «Купило-то притупило», - говаривала бывало мать. А если сам сваяет – мало того, что будет ходить в новеньких, еще и в Москве побывает. Про-

даст там парочки три-четыре – на вырученные деньги можно купить кое-что, например, калоши-тянучки, они легкие и нарядные...

Так мечтал Федя, ускоряя шаг и покрепче топая по дороге мерзнувшими ногами.

После расчета с Прасковьей сверточек материных денег похудел вдвое – и об этом сокрушался Федя дорогой, ощупывая его за пазухой. Но хоть и страшно лишаться заветного капитала, однако же был в уверенности, что в данном случае не прогадал. Надо только браться за дело, и все тут: глаза бояться – руки делают!

## 24.

Превращение шерсти в валенки началось с того, что расщипывая ее, Федя просидел весь вечер. Старушечья работа... Своя-то личовочка расщипалась споро, была довольно чиста, разве что репы попадались, приходилось их выбирать; а вот купленная вторина сваллялась комками, жгутами, сосулями – на пальцах нарастал сальный слой грязи, а самое плохое – воняла она! Где купила ее Прасковья Зыкина? Или, может, хранила в каком-то протухлом месте?

Костяха Крайний зашел к нему посидеть – Федя Бог знает почему упихал шерсть под лавку, спрятал, словно боясь.

- Какой-то падалью у тебя воняет, - сказал гость, кривясь. – Может, кошка сдохла?

Мырзя лежала на полатах возле печи, грелась.

- Пойдем гулять, а? Чего ты дома сидишь!

- Не, - сказал Федя решительно, что ясно было: бесполезно его звать и уговаривать.

Костяхе можно шляться по деревне, у него забот нет. Ему шерсть не щипать и не бить. На нем штаны суконные лихо выпущены на голенища валенок – жених! Ушел, независимо посвистывая, а Федя продолжал свое дело.

Не скоро, неделю спустя, условились с Гараней идти на шерстобойку в Верхнюю Луду, ту самую, через которую недавно проходил Федя, не решившись попросить там кусок хлеба.

Степан опять болел, перемогался: под правой лопаткой вспухал



у него очередной нарыв, но вспухал медленно, неведомо когда проткнется.

- Ладно, пошли, - решил он. – Некогда рассусоливать, сезон кончается.

И они отправились в Верхнюю Луду, приноравливаясь прийти туда под вечер: днем шерстобойная машина не работала. Это была колхозная шерстобойка, досталась она верхнелудскому колхозу в тридцатом году, когда разоряли богатеев, - один из них как раз и занимался валяльным делом.

По негласному уговору кого-то с кем-то, шерстобойка существовала вроде бы тайно. Районная милиция, конечно, знала о ней, но по договоренности с председателем здешнего колхоза делала вид, что не знает. А колхозу машина приносила кой-какой доход; битье шерсти – по рублю за килограмм.

- В прошлый раз ждал я своей очереди, - посмеиваясь, рассказывал Гараня, - вдруг прибегает кладовщик: скрывайтесь, милиция! Ну и брызнули все в разные стороны. Кто по целине – до лесу, кто – по-за сараями да на скотный двор, а я спрыгнул в силосную яму, закопался, сижу, покуриваю, слушая голоса. Меня хрен найдешь! Разведка все-таки... Однако часа два пришлось там сидеть, пока собака-уполномоченный шугал нашего брата... Шерстобойку опечатал. Но на другой день пломбу сняли, и вот опять работает.

Возле амбара, в котором, слышно, пошумливали машина, томилось человек восемь, очередь. Каждый приглядывал за своими узлами. Разговаривали негромко, будто милиционеры где-то рядом и могут услышать.

Ждать пришлось довольно долго. На улице было холодно, и Федя забился в угол амбара, за чьи-то узлы, задремал под ровный шум и постукивание машины, под говор в темноте. Из щелей в стене морозцем несло, но если отворотиться и сжаться в комок, то и нечего, терпеть можно. Да и сон донимал. Уснул бы, но кто-то из сидевших вытащил хлеб и стал есть. Аромат хлебный кружил голову и вызывал обильную слюну – хоть уходи из тепла на холод.

Ждали своей очереди баулинские, тиуновские, из деревни Высокий Борок, еще откуда-то. Очередь пятинских подошла лишь глу-

бокой ночью. Гараня встал к барабану – крутить, как крутят ворот колодца, поторопил:

- Давай, Федюха, живей! Некогда рассусоливать! Видишь, люди ждут. Ты подкладывай, я покручу, потом поменяемся.

Огромный барабан повернулся медленно, тяжело, вращая через ременные передачи, тесно прижатые к нему валки маленькие, крутившиеся с разной скоростью – бегунки и ленивцы. Неверный свет коптилочки освещал сбоку широкую, непрерывнодвигающуюся ленту полотна, на которую Федя бросал клочки шерсти. Надо, чтоб они ложились на всю ширину, иначе, он знал, лента уже битой шерсти будет сходить из-под гребешка с другой стороны машины рваной, а это не годится. И мало нельзя класть, и много нельзя – приравливайся, чтоб в самый раз было.

Большой барабан раскручивался все быстрее и быстрее, игольчатая шкура его, шурша о шкуру ленивцев и бегунков, расщипывала, раздергивала, раздирала шерсть, делая ее похожей на пух. Степан оборачивал время от времени лицо к Феде, и тот мог видеть его болезненно-свирепую гримасу. Гараня словно бы опьянел, через некоторое время волосы его потемнели от пота, но он крутил и крутил как заведенный. Наконец отступил:

- Ну-ка, смени.

Федя поймал летающий крюк и стал крутить, боясь, что ненадолго хватит сил, что скоро выдохнется. Но тяжелый барабан, казалось, вращался сам – так по крайней мере почудилось Феде сначала, и он даже повеселел. Но вот и испарина выступила на лбу, еще через некоторое время и рубаха прилипла к лопаткам: Федя уже пожалел, что не скинул пиджак.

- Эй, мужик! – окликнули Гараню. – Что это у тебя кровь на спине?

- А-а, пустое! – откликнулся тот, раскидывая по ползущему полотну клочки шерсти. – Осколок выходит, зараза.

Федя приостановился, чтоб пиджак снять, на что Степан заметил насмешливо:

- Э-э, Федюха, хреновый тот работник, который потеет.

- Сам-то не лучше, - пробормотал Федя самолюбиво.

- Я не от работы, а от азарту, - отвечал Гараня и молодецки пошевелил плечами.

Федя на мгновение увидел его спину – под правой лопаткой Гарани расплылось кровавое пятно.

- Дядь Степан, в самом деле кровь у тебя.

- Пустое, Федюха! Осколок...

- В больницу надо, - сказала из темноты женщина из тех, что ждали очереди; из-под низко повязанной шали смотрели на Степана большие жалостливые глаза.

- Заживет... - пробормотал Гараня. – На живом человеке, как на живой собаке, должно все зажить.

Он и еще что-то сказал, но Федя не слышал.

Дыхание сбивалось, сердце колотилось, подступая куда-то к горлу, и вот-вот сорвется рука, а крюк долбанет по темени – говорят, кого-то этак-то убило...

Наконец услышал спасительное: «Дай-ка я, Федюха» – Степан отстранил его, и работа продолжалась.

## 25.

Сновалица – так называли Огашу Аверину, Федину крестну. Если только заходила речь о валянии и вспоминали о ней, всегда прибавляли именно это и самым уважительным или даже завистливым тоном: «Ну, она хорошая сновалица». Никто лучше ее не мог сновать (иначе говоря, заложить основу) валенки в Пятинах, хотя умели это несколько человек: дело не такое простое, как может показаться со стороны. Это как на гармонии играть – коли Бог чего-то не вложил в человека, то и толку не будет.

Степан Гаранин, к примеру, сам валенки закладывал, умел, можно сказать, но Огашу Аверину чтил: чего, мол, и говорить, у нее получается лучше. У Степана, как ни старался, выходило похуже – об этом сам же и говорил: вдруг, вроде ни с того, ни с сего при валке сапог, снованный им, опасно истончался то на пятке, то на головке, то на подъеме к голенищу – в самых ответственных местах проминалось под пальцами чуть не до дыры, будто промоина во льду, в кото-

рую можно провалиться. Ну и все, пропал сапог! Конечно, вальщик пытался прилепить, привалять заплату – да что! Потом на рынке за эту пару трясись – не ушупали бы покупатели.

Для Феди Степан отказался снова:

- Да что ты, Федюха! Какой из меня сноваль! Еле ползаю.

Пришлось просить крестну.

- Неуж ты сам решил свалить? – удивилась она.

- Не знаю... - смутился он. – Попробую.

- Попробуй, крестничек, попробуй. Уж верно получится. А я, так и быть, заложу тебе валеночки.

В назначенный день он принес ей узлы с шерстью – и лицовку, и вторину. Валька Аверина, постоянно задиравшая его, была дома, но она собиралась куда-то – одевалась, крутясь перед зеркалом.

Просто удивительно, какие девки выгуливались в Пятинах ли, в иных ли деревнях – это при таких-то скудных харчах! Впрочем, у Авериных – Хвалёнка, а значит и молочко на столе. Хоть и велик налог на корову – триста литров в год сдать надо! – хоть и выгадывают они каждую криночку на продажу, но кое-что перепадает и себе. Вот Валька перед зеркалом крутится, кофту одергивает – это она нарочно: любит собой гордиться. Пояском себя перетянула – и как это при таком узком перехвате у нее может быть в юбке так широко! А крутанется – юбка вокруг...

- Ты чего, Федюха?

- Я? Ничего.

- А краснеешь-то?

Ей страсть как нравится, что он краснеет.

- Крестна, чего она пристаёт!

- Беда с ней, - вздыхает та. – Скорей бы замуж выдать.

Свадьбу Валькину хотели играть в масленицу, да у жениха мать в больницу положили, теперь ждать до мая, то есть пока не закончится Великий пост. А пока что ходит Валька, будто тесто на дрожжах.

Летом убирали клевер, сели возле скирды отдохнуть – и возчики, и те, кто на воза подают, и те, кто скирду кладут – ну, разговоры, шутки, то и се. Вдруг Феде в затылок шлепнулся туго скрученный жгут сена. Оглянулся – Валька Огашина прячется за девок, а те хо-

хочут. Вскочил – она от него бежать. Видя, что ее настигают, упала на охапку клевера и, как кошка, успела повернуться на спину. Он не удержался в беге – на нее. А сзади же смотрят на них! Другая б девка прежде всего загородилась руками, оттолкнула, а эта наоборот раскинула руки в разные стороны – на, мол, меня, что ты со мной сделаешь? И хохотала. Федя тотчас встал и, ошеломленный, смущенный, пошел назад к скирде. А Валька сзади, прямо-таки переламывалась от смеха. Уж так ей была смешна растерянность его!

- Нет, - сказала она во всеуслышанье, - не годится этот парень ни на что.

Федю же и осмеяли, а ей как-то сошло. Во бессовестная какая!

У нее только и разговору – кто на ком женился, да кто за кого замуж выходит - кто с кем гуляет, да кто кого бросил. Она и сейчас толковала о том же, но, слава Богу, ушла скоро.

Крестна принялась за работу, не мешкая. Она освободила обеденный стол, постелила на нем грязную-прегрязную постилушку из холста, развязала Федины узлы, разложила кудели шерсти на полу – все это делала неспешно, будто к празднику готовилась. Стянутые ранее шалью лицовочка и вторина были все-таки пушисты, слоились. Крестна брала шерсть этак пластиками и выкладывала ровным слоем сначала лицовочку, пристукивая пальцами по столешнице, потом вторину. Ключки-пластики прибивались один к другому.

- Первую парочку тебе на ноги, ты приметь ее, я тут лицовочки положу побольше, - сказала она. – А на продажу можно побольше вторинки.

Федя кивнул солидно: да, мол, именно так и надо. Он присел рядом, следил за ее работой. Соображал: пристукивая этак-то, она не только прибивает пластики, но и следит за толщиной листа, проверяя его на каждой пяди.

- Ты, Федюшка, не товар ли свой стережешь? – спросила крестна, видя, что он не собирается уходить. – И тогда квашонку свою стерег, и теперь...

Федя покраснел.

- Не. Я хочу узнать, как это... Мне интересно.



- Прятать, прятать надо, - твердила тетя Огаша. – Придут ли, нет ли, а все равно... Вдруг явятся, а у нас...

- Я к себе отнесу, - сказал Федя. – Найдут, так уж у меня, а не у вас.

Из окна было видно, как по тропочке вдоль того посада изо всех сил бежит Анна Никишова, тоже перепуганная. Следом торопливо прошагал, то и дело оглядываясь, Иван-безрукий; тут и Федя встревожился не на шутку.

- Бери товар и беги, Федюшка!.. – жарко дыша, сказала крестна. – Знать, такую же облаву хотят устроить, как в Ергушове. Пересажают всех!

И шерсть, и заложенную пару – все вместе стали увязывать – не увязывалось. Пришлось сделать два узла. Схватив их в охапку, Федя выскочил на улицу, выглянул из-за угла – вроде, никого. А-а, была не была – пустился к своему дому. Если видели его – сейчас придут.

Надо срочно спрятать. Хотел сунуть узлы на задворках за поленицу – никак. Да и заметно здесь! Полез на чердак – ну что, и там все на виду. «А если в колодец? Потом ведь можно выудить... Да вымокнет шерсть – не высушить. Зато в колодце не найдут...».

Придумал: спустил на веревке оба узла вниз по срубу, но не в воду, так подвесил. И только тогда немного успокоился.

С обыском, однако, никто к нему не пришел.

## 26.

«Стируху» свою Гаранин Степан время от времени забрасывал снегом, чтоб похожа была на сугроб. Но из этого «сугроба» обличающе торчала жестяная труба, кое-как склепанная из старого ведра. Да еще тропочка вела от двора, которая к весне обнажилась, выдавая скрытое. Тропочка обрывалась ступеньками вниз, как в волчью нору, и, толкнув тут тяжелую, обитую тряпками дверь, согнувшись в три погибели, можно попасть в самую стируху, тесную, кисло воняющую шерстью, душноватую от прели, гнили, до озноба зябкую и мокрую.

Степан засветло послал сюда Федю: вычерпать, накопившуюся за день воду.





текаясь над сугробами огорода. Федя сидел перед печкой, ждал. Парочка заложённых крестной валенок вместе с гараниными уже замочены были в лохани с водой, куда добавлено немного купоросного масла. Масло едкое, если случайно капнешь на кожу – мгновенно забелеет, и боль резанет, как при ожоге, поэтому его добавляли немного к замоченным валенкам, будто для приправы, чтоб потом, при валке, те «садились» побыстрее.

В стирuşке стало уже тепло и даже по-своему хорошо: весело потрескивали дрова, дым, не уходивший в трубу, пеленой застилал тесное пространство, зато перебивал прочие запахи. Федя уже притерпелся и не кривил лицо, когда нечаянно касался ослизлого катка или скребницы.

Пришел хозяин, оглядел все, разложил инструменты, надел передник с прорехами там и сям. Потрогал воду – в самый раз.

- Ну, Федюха, становись рядом! Делай все, как я, понял?

Палкой деревянной выудил из лохани замоченный валенок – не Федин, а свой – расправил на катке, ковшом зачерпнул кипятку из котла, полил, стал комкать и валять. Потом окунул прямо в кипящую воду, что в котле, выудил обратно, шмякнул на верстак – пар ударил в крышу стирuşки. Федя делал то же самое со своим валенком.

- Если пару свалёшь сегодня за ночь – ты герой, - говорил мастер.

Он немилосердно комкал и мял, будто отстирывал от грязи свой валенок, еще имевший форму мешка...

«Вот почему называется «стируха»! – соображал Федя по ходу работы. – В ней именно стирают... совсем как белье».

- Смелей, смелей! – подбадривал главный вальщик. – Вот так, смотри. Видишь?

Подмастерье тоже комкал и мял. И долго так они работали, макая валенки поочередно в горячую воду котла или просто поливая из ковша. Руки у Феди уже распарились и стали красными, даже вроде бы распухли; купоросное масло разъедало их, но – «Терпи, парень!» – подбадривал мастер.

Жарко стало и душно; пар клубился по стирuşке, заволакивал плотным туманом мигающую копилку и белесое, заснеженное сна-

ружи окно. Спереди было жарко от печки и горячей воды, в спину от двери тянуло холодом. И штаны, и рубахи у обоих валял были уже мокры, лица в поту и в грязных брызгах...

- Вот так, Федюха, видишь? Жми его, гада, крути, три, жамкай, не жалей!

Иван Субботин правильно делает, что раздевается за работой догола – как в бане. Все равно ведь становишься мокрым до нитки! Ну и без руки он, а как тут одной-то управиться? Это значит, Субботин коленкой тискает валенок на катке... это значит, он зубами – горячий-то валенок! С купоросным-то маслом! – зубами помогает руке. То-то у него рот изъеден, как от дурной болезни.

- Теперь красить! – скомандовал учитель.

И они оба окунули свои валенки в шайку с густо разведенной в ней черной краской. Через некоторое время достали и продолжали валять – черная вода струилась по катку; руки стали черными – теперь их не отмыть, въестся краска в каждую трещину, каждую ранку на коже.

Насадил Гарадя с Федей свои валенки на круглые поле-начураки, катали по очереди большим вальком-лощилом с рубцами, в носок валенка загоняли по маленькому чураку и опять терли, и били скалкой по сгибу, и поливали, поливали горячей водой... и конца этому не было видно.

Однако же огромный раньше валенок понемногу уменьшался и уменьшался - "садился" - и это ободряло. Уже маленький чурачок с трудом входил в носок; уже большой чурак почти вплотную облегался голенищем...

Главный мастер сваял свой сапог и сел за скребницу верхом – «оттирать»; а Федя все еще возился со своим, бил скалкой, катал лощилом... Гарадя несколько раз вставал со своего места за скребницей, проверял его работу, щупая и голенище, и подошву, говорил: «Еще немного вот здесь потри!», и Федя тер указанным местом о каток, крутя валенок так и этак.

Потом он отобрал у Феде валенок и некоторое время, тяжело дыша, ожесточенно катал его и мял, и бил скалкой, шлепая изо всей силы об каток, так что брызги летели во все стороны вместе с ошметками шерсти.

- Довольно, - сказал он наконец. – Садись оттирать.

Теперь надо с полчаса, не меньше, возить валенок с тяжеленным чураком по скребнице, но и это было не все...

## 27.

Далеко за полночь пришел Федя домой. И не пришел да-же, а этак приволокся: его пошатывало от усталости.

Когда уже сваял свою пару и думал, что дело сделано, выяснилось, что надо, ведь, насадить оба валенка на колодки, и не когда-нибудь, а вот именно теперь, пока они разопревшие, разогретые. А насадить оказалось непросто. В носок надо загнать почти круглую головку, а она никак не хотела лезть туда. Зажав валенок в обеих руках, Федя изо всей силы, с отчаянным «хаком» ударял им о чурбан возле скребницы, и ударял так раз за разом, а силы явно не хватало: головка все-таки не хотела влезать в носок валенка. Уж и соломки предложил немного, чтоб легче входило – все равно никак.

Тогда, матерясь озлобленно, за дело взялся тоже измученный, а потому и злой Гараня, хряснул изо всей силы и раз, и два – и ему с трудом удалось. Федя с виноватым видом стоял рядом. А еще надо справиться с теми колодками, что забивают в голенища... Потом долго мучился со вторым валенком: опять ударял со всего размаха, обливаясь потом... и совершенно выбился из сил, настолько, что поджилки дрожали. Спасибо Степану Клементьичу, опять помог.

Два сапога – это был итог Фединой работы за ночь. Но кто бы сваял больше? Может, Костяха Крайний или Мишка Задорный? Ведь все-таки первая попытка... Главный вальщик за то же время сваял две пары.

Из стирухи Федя вылез обессиленный, мокрый, потный. Пока шел – морозным ветерком продувало; светила на него холодная равнодушная луна. Дома, вальнувшись в постель, долго не мог согреться – колотил озноб. В сон провалился – снилось опять, что каким-то образом очутился в глубоком колодце, вымок там и продрог. И выкарабкивается, выкарабкивается оттуда по ослизлым бревнышкам сруба, цепляясь и ногами и руками. А бревнышки гнилые то и дело

проваливаются, обрушиваются вниз – слышно, как бултыхая падают они в холодную воду. А он, Федя, отчаянно лезет вверх, туда, откуда просеивается солнечным дождичком свет - там и сухо, и тепло, там спасение...

Наутро предстояло топить печь да пожарче – чтоб наса-женные на колодки валенки высушить. И он встал затемно, чтоб успеть все сделать до того, как бригадир придет с нарядом, - забота пробудила! Будто под бок толкнул кто-то. Разбитый и сонный топил печь, а загребя угли в жараток, ставил к задней стенке печи насаженные валенки – и проклинал это дело: на ухвате валенок – в печь, а он соскальзывал, падал в золу или на угли...

## 28.

- Сходи к Дарье, - посоветовал Степан, - возьми у нее справку, что, мол, валенки валял не из купленной шерсти, а из своей собственной. У тебя ж овцы были! Вот и пусть об этом удостоверит. Да и печать чтоб поставила, так-то верней. Если в случае чего заберут тебя в милицию, ты им сразу справку под рыло: имею, мол, право, поскольку шерсть своя, не купленная. Понял?

- А ты себе взял такую справку?

- Мне она не дает: овец нет. Стерва-баба, чего и говорить! Ей все можно, нам ничего нельзя.

В правление Федя подгадал так, чтоб никого постороннего не было там в это время. Кулакастая Дарья сидела мрачнее тучи, не подступись: как раз в этот день, а вернее ночью (утром председательница только узнала), подохла колхозная корова. Не от бескормицы, а от дурацкого случая, что и обидно-то: у водопоя пырнула ее в бок рогом другая корова; надо было прирезать, да вот думалось, что выздоровеет. Так нет, подохла...

- Чего тебе? – неприветливо спросила председательница.

Выходит, не вовремя пришел. И справки не даст, и в Москву не отпустит – Феде это было ясно как день. А он уж так настроился, что именно завтра... Ей что – жалко? И жрать нечего, и заработать нельзя! Ложиться помирать, что ли?

.....  
 - Хлеб кончился у меня, - осердясь тоже, хмуро сказал Федя. – Если бы аванец... Хотя бы один пуд. Или полпуда.

Она посмотрела на него таким взглядом, будто спрашивала: ты что, на самом деле дурак или только притворяешься? И говорить ничего не хотела, но все-таки сказала:

- Аванца я тебе дать не могу. У меня в амбаре только семенное. Съедем – чем сеять будем?

- Тогда мне в Москву надо съездить.

- Зачем?

- Валенки продать.

Она некоторое время смотрела на него, соображала.

- Ну вот, еще один спекулянт, - сказала председательница себе самой и, после паузы, – Феде:

- Сколько же пар ты сваял?

- Пять.

- Кто тебя учил?

- Я сам.

- Сам с усам... А если попадешься?

- Риск – благородное дело, - сказал Федя тоном Степана Гаранина. – Кто не рискует, тот не пьет шампанское.

- А-а, вон ты у кого ума набираешься! Ну-ну... Так и в милиции заяви, про шампанское-то. Они сразу поймут, с кем имеешь дело.

- У меня шерсть своя, - напомнил Федя. – От наших овец осталась. Я сам ее настриг! Меня из милиции отпустят, если дашь справку. Вот за ней я и пришел.

Дарья помедлила минуту и написала на листе из школьной тетради в косую линейку:

«Справка... Дана настоящая члену колхоза имени 1-го Мая Бачурину Федору Алексеевичу 1930 года рождения в том, что он имел 2 (две) овцы, с которых настриг 4(четыре) килограмма шерсти, чтобы сваять валенки. Председатель колхоза Гурова».

- Задержит милиция, станут выяснять, кто такой да откуда. И что узнают? – вслух размышляла она. – Отец пропал без вести, мать была осуждена... сын вот стал спекулянтом. А тут моя справка... я тебя покрываю. Сама свою голову, как курица, под топор кладу...



белые – каждый день... И дома покроем железом, и дороги проведем асфальтовые. В каждом дворе – корова с теленком, овцы, поросята; в каждом доме – радио. Через десяток лет, Федя, жизнь совсем будет другая. Нам только теперь продержаться, перетерпеть, только теперь поработать на колхоз изо всей силы...

Федя смотрел в окно, как это бывало в школе, если вызывали к доске, а он не выучил урок. Дарья заметила: слушает не так, как ей хотелось бы.

- Ты потом меня вспомнишь. Скажешь: правильно тетка Дарья говорила, а я ей, дурак, не верил. Нам бы только теперь, а потом жизнь пойдет, как в сказке. На работу будем ходить в белых халатах, легкая будет работа, радостная, чистая. Да что! У каждого даже будет свой врач, так что и болезни-то, небось, переведутся все...

Не в первый раз уже Дарья Гурова говорила так-то. На собраниях выступала с такими же обещаниями: вот кончится война – и заживем. Кончилась война, а что-то не полегчало. Может, конечно, потом...

- Пока травка подрастет, лошадка с голоду помрет, - опять усмехнулся Федя.

Дарья грохнула кулаком по столу.

- Замолчи! Я с тобой по-человечески, а ты... Ишь, какие песни у тебя!.. Ох, гляди, парень. Рано или поздно это себя покажет. И спохватишься тогда, помяни мое слово. Ладно, иди... Да пеняй на себя, если что!

- Мой грех – мой и ответ, - обронил Федя, уже выходя.

## 29.

Пять пар валенок уложил он сначала в мешок, но Степан Гаранин велел перекинуть в старый чемодан, благо такой нашелся в доме.

- Чтоб глазами не ущупали, что везешь, понял? – растолковывал Степан. – У них глаз наметанный, но насквозь не видит.

Не ясно, у кого это «у них», но не было сомнений, что «они» - на той дороге, что предстояла им, поджидают на каждом шагу. У самого Степана тоже был чемодан, но в него вошло только шесть

пар, а еще шесть он уложил в большую сумку из брезента, довольно неуклюжую, самошитую; в сумке этой валенки его были переложены жгутами сена, чтоб по проступающим буграм невозможно было догадаться, что именно в ней.

Из деревни вышли – падал легкий снежок, ложился на темнеющие проталины, закрывая их.

- Ну, знать, зима решила вернуться, - проворчал Степан. Он вообще был не в духе, кажется; чемодан и связанную с ним сумку нес, повесив их через плечо, назад и на перед. На ходу морщился и прихрамывал. Отошли от деревни этак с километр – остановился, сбросил ношу, сел на чемодан и некоторое время сидел молча.

- Ты чего, Степан Клементьич? – спросил Федя тревожно.

С тех пор, как вместе помытарились у шерстобойной машины да в стирухе, он стал испытывать к старшему товарищу прямо-таки родственное чувство и в обращении уже не называл иначе, как по имени-отчеству, а прозвище «Гараня» и не вспоминалось.

- Вернуться, что ли? – сказал тот глухо, прислушиваясь к самому себе.

- Опять нарыв?

- Нет, хуже: тут колет... - Степан потер грудь. – Два осколка сидят у меня возле сердца, Федюха. И острые, зараза! Иногда ничего, а то вдруг... грызут меня, как собаки!

Он оглянулся на Пятины, помедлил немного и поднялся уже решительно:

- Нет, надо идти. А подохну дорогой – так тому и быть. Рано или поздно, а помирать все равно придется. Так что живи, не тужи.

Поднял ношу, пробормотал:

- Вот собачья жизнь, а?!

Шли не большаком, где случалось, могла прихватить попутная машина, а другой дорогой – через Веселуху, Задорожье, Высокий Борок... «Береженого бог бережет, - объяснил Степан. – Большаком начальство ездит». Он уже не присаживался отдыхать, но иногда постанывал и чертыхался, и вообще словно бы опьянел от внутренней боли и от непрерывного преодоления ее – как тогда, в Верхней Луде, у шерстобойной машины. Федя тоже устал, нес свой чемодан и за



спиной, и в обнимку, и сбоку в руке – кажется, тот становился все тяжелее и тяжелее.

- Ничего, Федюха! – хрипел, подбадривая, Степан. – Зато на поезде прокатиться, в Москве побываешь, булки белой попробуешь. А самое главное – разбогатеешь! Если, конечно, не поймут нас дорогой. Ну, ничего, авось обойдется.

И чем ближе к Калязину, тем явственней тревога слышалась в этом «авось обойдется», повторяемом время от времени.

- Степан Клементыч, а почему нам не разрешают валять валенки? В магазинах, говорят, валенок нет – где ж люди их купят, городские-то, если мы продавать не будем?

Степан покривился то ли от боли, то ли от Федино вопроса.

- Почему не разрешают, говоришь? Боятся, что мы перестанем пахать и сеять, если будем заняты этим ремеслом.

- Но ведь мы валяем по ночам.

- А коли ты ночью не спишь, то какой из тебя работник днем?

- Да работник как работник. И не каждую же ночь мы в стирухе.

- Ты должен, как пчелка, нести мед только в общие соты. Вот так они считают, Федюха. У пчел в улье – полный коммунизм, все трудятся, так и у нас должно быть.

- У пчел одно, у людей – другое. Каждому человеку нужно свое: еда, постель, одежда-обува.

- Пока так, а при коммунизме – все наоборот, - сказал Степан, будто поддразнивая младшего товарища. – Не свое, а общее: и еда, и постель.

- Нет, я все равно не понимаю, почему они не разрешают. Кому наша работа во вред?

Степан помедлил с ответом, потом сказал уже серьезно и словно бы нехотя:

- Боятся, что мы разбогатеем, вот что. Вдруг станем богатые – значит, кулаки! Выходит, выкорчевывали-выкорчевывали кулачество как класс, и вдруг – снова-здорово! – опять они, мироеды, появились!

- Кулаки – это которые работников нанимали, - возразил Федя. – А мы-то сами валяем.

Степан повторил решительно:

- Они боятся, что мы разбогатеем, - верно говорю! Я сам об этом думал. Тут для них главная опасность.

- Да почему? – не унимался Федя.

- Наверно, бедными легче управлять. Бедный всего боится, а богатый – он самостоятельный, начальников-то может и подальше послать. Так что они не любят богатых.

- А кто это «они», Степан Клементьич? Вот мы все говорим: они, они. Дарья Гурова, что ли?

- Да ну!.. Она сама подневольная, как и мы с тобой.

- Значит, милиционеры, что приходят с обыском? Или уполномоченные?

- Эти-то дураки. Им что прикажут, они и рады. Отобрать да ограбить всегда проще, чем своим трудом нажить. На грабеж большого ума не надо.

Тут Степан замолчал. Вид у него был разгневанный, даже свирепый – то ли от разговора, то ли от мучившей его боли.

- Тогда кто? Они в Калязине? Или в Москве?

Степан только посмотрел на него и не ответил. После долго шли, не говоря ни слова. А потом он сказал:

- Запомни, Федюха: я тебе насчет этого ничего не говорил. Не было у нас такого разговора. Забудь его.

«Испугался...» – подумал Федя, а Степан угадал его мысли.

- Не за себя опасуюсь, за тебя. Я-то тертый калач, меня за рубль двадцать не купишь. А вот ты брякнешь где-нибудь... Помни: за длинный язык длинный срок дают. Так что помалки-вай.

Помалкивать, конечно, можно, это не так уж и трудно; а как все-таки понять, почему за ремесло преследуют, даже сажают в тюрьму? Кому от него плохо? Тем, кто покупает? Нет. Ведь, людям нужны валенки! Тогда, может быть, деревенским? Но ведь им заработать надо! На керосин, на топор или пилу, на калоши... На «штраховку», на какое-то «самообложение», на налоги...

Пятинский колхоз крепкий, он выплачивает за своих колхозников налоги, так что и на трудодни, бывает, нечего получать. Но все-таки выплачивает! А вот в той же Верхней Луде было: мужик

сам себя зарезал, Сергей Грачев, - а отчего? Недоимка накопилась! Пугнули его тюрьмой, он и... говорят, соломки постлал в сених и полоснул себя по горлу, как барана. Он тоже, небось, мог бы валенки валять и выплатить государству налог. И жил бы сейчас поживал.

Ничего не понятно!

### 30.

До Калязина добрались засветло. На вокзал не пошли, а свернули в сторону и, перейдя через станционные пути, свалили свою ношу прямо в сугроб за невысоким кирпичным строением, вроде склада. Степан даже умял вещи поглубже и, ногами подгребая, забросал снегом и свое, и Федино. При этом оглядывался сторожко и приговаривал:

- Береженого бог бережет. Стой, Федюха, тут, не отходи. Если подойдут мильтоны и выкопают – откажешься: не мое, мол. Понял? Я не я, и лошадь не моя, я и не извозчик – вот так. Пойду, разведу. Тут как на вражеской территории...

Вернулся он нескоро, в легком подпитии и потому воодушевленный.

- Дронниковские клухи пришли с котулями и прямо на вокзал вперлись, - сказал, радуясь неведомо чему. – И вот дурищи-то: каждая на свои котули по подушке привязала: мол, для маскировки. Хо-хо! Ну, бабы!.. На них сразу мильтон глазом вострым. Я им мигаю: уметайтесь, мол! Кажется, сообразили.

Уже темнело. Ветерок поднялся, вьюжило немного. Спрятанные в сугроб вещи припорошило так, что, наверно, мильтонам можно было отыскать их только с собаками.

- Ну, сейчас билеты будут давать, - сказал Степан с таким видом, словно собирался кинуться в холодную воду. – Доставай деньги, я и на тебя куплю, а ты стой тут.

Он опять ушел и надолго. Наконец прибежал: «Поезд идет!».

Федя схватился за свой чемодан, но Степан придержал его: «Погоди, погоди...». Выглянул из-за угла, скрылся, но вернулся скоро:

- Пошли, Федюха! Скорей!

Поезд останавливался в Калязине всего на три минуты. Он уже трогался, когда они подбежали, но именно так и рассчитал Степан: садиться, когда поезд уже отходит. Одну за другой он закинули вещи на площадку, мимо посторонившейся проводницы, а когда влезали, мимо проплыл милиционер, стоявший на перроне и провожавший их взглядом.

- Стоит, разиня варежку, - весело сказал Степан. – Привет теще, служба!

Проводница поторопила их нелюбезно, и они ввалились в вагон, где сидели и лежали пассажиры. Вещи тут занимали и полки, и проходы, однако пятинские валялы кое-как протиснулись, нашли местечко и для себя. Федя упятился в темноту плацкартного купе, чемодан ему помогли закинуть на самую верхнюю полку под потолок. Степан хотел поступить и со своими вещами так же, но места не хватило, и он расположился у окна. Очень неплохо устроился еще и потому, что прикрыл сумку с валенками чужой пальтухой, а хозяйка этой пальтухи, старушка богомольного вида, сидела напротив, с нею Степан уже пошучивал.

Поезд бодро вздрагивал, набрав ход; за окном мелькали в ночи неясные тени; говор, и стук, и всяческое шевеление наполняло вагон – восторг постепенно овладевал Федей: он впервые ехал в поезде!

- Смотри-ка, и дронниковские клухи здесь, - опять непонятно чему обрадовался Степан. – Привет, бабоньки!

Те, кого он назвал «дронниковскими клухами», сидели неподалеку и тоже улыбались Гаране. Это значит, они из деревни Дронниково и знакомы ему с каких-то пор. Небось, будучи еще парнем, ходил к ним гулять. Их было три – все толстые, увязанные шаялами, и сумки-котули у них были толстые, бокастые, причем чуть ли не в каждой и впрямь привязаны подушки.

- Тоже, небось, в Москву едут, - сказал Степан Феде, приглушая голос. – Собьют нам цену, а? Как ты думаешь?

Федя воспринял это всерьез, озабоченно пожал плечами: в самом деле, могут сбить.

- Эх! – совсем развеселился Степан. – Зря я не сдал их милиции.

Тут, легки на помине, вошли двое милиционеров и стали про-

бираться по проходу. Один из них остановился возле Степана и, откинув старушкину пальтуху, пощупал сумку, спросил:

- Валенки везешь?

Степан явно смутился:

- Да нет, так... барахло всякое.

Милиционер опять пощупал и сказал своему напарнику:

- Валенки, чего там!

И пошел дальше, остановился возле дронниковских, что-то спросил. Женщины отвечали полушепотом.

Второй же мильтон сказал Степану, мотнув головой:

- Ну-ка, мужик, давай выйдем.

Степан встал. Они пошли в ту сторону, где проводница лязгала железной дверкой печки. А трех дронниковских первый милиционер повел в другую сторону вагона. Федя испуганно следил: как это? Арестовали их всех, что ли?

Он сидел сам не свой. Утешало только одно, вещи Степана – вот они, остались, и тот должен за ними вернуться.

«А если не вернется – что тогда? Ехать в Москву? А там куда?»

Федя запаниковал.

Двери с той и с другой стороны вагона открывались и закрывались, но входили и выходили чужие люди. Степан не показывался. Не было видно и дронниковских. Может, их хотят всех ссадить? Вот сейчас остановится поезд, и они останутся... Тревога Феде нарастала. Он то вставал, то садился.

Наконец появился возбужденный, раскрасневшийся Степан, сел на свое место, подмигнул Феде ободряюще.

- Отпустили? – сочувственно спросила старушка.

- А то! – лихо отвечал Степан. – Штраф хотел сорвать! Вот гад, а? Это с меня-то, фронтовика, и штраф! Ну, я ему...

- А ты ему чего?

- А вот так рубаху распахнул: на тебе! Видишь? Вот, полюбуйся.

И он распахнул рубаху на груди до самого пояса, обнажив свои страшные шрамы; грудь Степана была буквально исковеркана. Сидевшие поблизости женщины ахнули, старушка пробормотала:



.....  
- А вот что оштрафовали.

- Что ты, бабушка! Кабы они в государственный карман мзду-то собирали, а то ведь в свой собственный: на выпивку!

Старушка осуждающе покачала головой:

- Ай-я-яй!

- Квитанцию... - проворчал Степан. – Попадись эти мародеры мне на фронте...

Он опять, явно жалея, посмотрел на дронниковских.

- Едут, дурехи, между прочим, на Тишинский рынок. Я им: на Тишинском барахолки нет, там валенки не продашь. На Перовский вам надо! Так, вишь, знакомых нет возле Перовского, не у кого остановиться. И я им тут не помощник, вот такое дело.

Только что был веселым – теперь нахмурился, помрачнел лицом.

- Слушай, - сказал он опять появившейся проводнице. – Поищи гармонь, я тебе сыграю, как в прошлый раз. Поищи...

И вот чудно! – та нашла ему где-то гармонь; должно быть, принесла из другого вагона, и Степан ушел к ней в служебный чуланчик, откуда через некоторое время послышалось:

- Бывали дни веселые,  
Я по три дня не ел...

Всю ночь Федя не спал. Боялся, что опять придут милиционеры, на этот раз «старенькие», и заберут-таки Степана. С ним-то, пока он рядом, надежно – как за каменной стеной. А без него пропадешь.

## 31.

- Перовский рынок! – сказал кто-то рядом, и Федя вздрогнул.

Нет, никто не говорил – это он задремал, ему и приснилось. За окнами мелькали огни большого города, светало.

Высадились на бестолковом, суетливом Савеловском вокзале, где Федя сразу слегка ошалел от сутолоки и многолюдья. В этом состоянии ехал и в трамвае, держась за Степана. Потом они, двое деревенских со своими котулями, вошли в одну из дверей огромного





Он не давал, пока она не вернула первый.

Мимо них ходили, толкали, спрашивали, почему валенки.

- Ладно, беру, - сказала женщина и, открыв свою сумку из черной кирзы, стала искать, по видимому, кошелек.

У Феде замерло сердце, как замирает оно при рыбной ловле, когда вдруг дернется и утонет поплавок.

- А где же... Ой, вытащили! Деньги вытащили! – с отчаянием сказала она.

Сквозь вспоротое дно сумки вдруг выглянули ее шевелящиеся пальцы – надрез был сделан чем-то очень острым.

- Положила деньги, - растерянно объясняла женщина окружающим и Феде, - вот сюда, под эту подкладку: тут, думаю, надежней всего, не догадаются – не вытащат. И ведь несла-то в руке, вот так помахивала – когда и успели? Ну, ворье!

Она заплакала; Феде было жаль ее, но он крепко помнил наказ Степана Гаранина: никому не верь, товар держи крепко.

- Уж больно хороши валеночки, как раз по ноге, - горевала женщина со слезами на глазах. – Ну-ка, паренек, отойдем сюда, за торговую палаточку, тут у меня знакомая работает, займу у нее.

Но Федя тотчас сообразил: «Обжудить хочет!» Ишь, суетливая, и глаза бегают, и плачет-то притворно.

Он помотал головой и отступил от нее.

- Миленький, да ты не бойся! – взмолилась женщина. – Не веришь – постой здесь, я сейчас прибегу. Только не продавай никому эту парочку.

Она исчезла, а к Феде подошла грозная, суровая старуха в шали, повязанной поверх шапки. Ни слова не говоря, она отобрала у него валенок, помяла головку морщинистыми пальцами, вернула, взяла другой и тоже помяла.

- Закартошил? – спросила она вдруг.

Федя поразился: откуда она знает? При валке хитрые валялы иногда для крепости втирают в головку и в пятку размятую картошку: высохнет валенок в печи – станет будто каменный.

- Купила в прошлую зиму, а он до первой лужи, - пробормотала старуха. – Намокли и расплзлись. Ишь, жулики...

.....

- Я не закартошивал! – гневно сказал Федя.  
- Вижу, вижу, - примирительно отвечала старуха, шупая валенок изнутри. – Неуж сам валял?  
- А то кто же!  
- Молодец... А у меня двое таких ухарцев, как ты, и оба бездельники. Хоть бы ремеслу какому научились! Нет - футбол гоняют. Спросила цену, отсчитала деньги, ворча:  
- Сына убили, вот с внуками маюся.  
Едва она отошла, тотчас появилась та покупательница:  
- Ну, слава Богу! Не ушёл. Выпросила я у Анютки в долг до вечера... Ну-ка, дай я еще раз примерю.  
Примерила один сапог, потом другой – Федя держался настороженно. Он дважды пересчитал её деньги, и только тогда отпустило его напряжение торга – повеселел, заулыбался. Зря подумал плохо об этой женщине, ничего в ней не было подозрительного.  
Поискал глазами Степана – похвастать – куда тот исчез? Ага, вон он! Растроговался уже и идет сквозь толпу...

## 32.

- Теперь мы с тобой, Федюха, кумовья королю! – Степан прицельски хлопнул его по плечу, когда выходили с Перовского рынка, распродав все, что привезли с собой.  
Торжество распирало его; он победно поглядывал по сторонам, отчего обрел вид озорной, мальчишковатый. Что касается Феде, то он... у него в душе было большее, чем просто радость от удачной торговли: пять пар, сваланных им самим, превратились в тугой сверточек денег – столько он никогда раньше и в руках не держал. Сверточек этот был теперь спрятан глубоко за пазуху и странным образом согревал.  
Только теперь, кажется, они заметили, что стоял теплый весенний день, с крыш капало, воробьи московские истинно по-деревенски купались в лужах.  
- Вот чудо, Федюха, что так бойко распродали мы свой товар, - дивился Степан, ласково похлопывая себя по сытому животу (в сто-

ловой побывали). – Думал, кому нужны валенки в марте-то! Поди ж ты, спрос есть. А раз так, то поедем-ка мы с тобой в Колошино за шерстью. Тут не так далеко – на окраину Москвы. Живенько обернемся!

Покупать шерсть? Федя мгновенно представил себе весь этот страшный путь: опять щипать – на шерстобойку – сновать – валять, красить и оттирать на скребнице... Опять зябнуть и обливаться потом, опять бояться милиционеров. Да, но и – выручить деньжонок! И что-нибудь купить!

- Не с пустыми же руками тебе ехать домой! – сказал Степан, видя нерешительность младшего товарища. – Шерсти купи, Федюха: не захочешь сам валять, продашь кому-нибудь подороже – опять барыш. Ты слушай меня, я тебе не посоветую безделицы.

Сели в трамвай и долго ехали; потом на автобусе... Потом шли пешком мимо каких-то строек, сараев, куч земли и ям, мимо грязных сугробов и канав. И пришли, наконец, в такое место... хуже-то и представить себе невозможно.

- Свалка заводская, - коротко объяснил Степан. – Кожи тут выделяют, а шерсть и щетину соскребают и выбрасывают.

Свалка – несколько огромных куч; по этим кучам ползали, казалось (именно ползали, потому как были согнуты в три погибели!) две женщины самого страшного вида: грязные, растрепанные, багроволицые. Они собирали клочки шерсти, что топорщились поверху, у каждой была корзина в опухлых, красных руках. Еще одна примерно такого же вида женщина поднималась от ручья по скользкой тропинке, грязная вода стекала из тяжелой корзины ей на подол платья... если это можно было назвать платьем.

Тут же рядом с вонючей свалкой лепились друг к другу несколько дощатых сарайчиков; из одного из них вышел мужик, не мокрый, как эти, - просто одетый в грязное, и тоже, как и они, крепко подвыпивший. С ним Степан поздоровался за руку, как со знакомым; они переговорили коротко, и Степан крикнул:

- Заходи, Федюха!

А тот все еще оглядывался: бабы, что ковырялись в отвратительных кучах, спустились теперь в низинку, где тек грязный ручей,

и стали полоскать в нем собранное. А та, что уже прополоскала, раскладывала клочки на досках и кусках ржавой жести, разложенных на мокром и почти черном снегу – это значит, проветрить и сушить на солнышке.

Вид этих людей поразил Федю – и такое может быть на свете? Он смотрел на них со страхом и – как на больных, с жалостью и смущением. Степан опять позвал его, и Федя зашел в сарайчик – вонь здесь душила прямо-таки до тошноты. Шерсть лежала на полу и на полках уже высушенная, увязанная в небольшие тюки или просто так, навалом. Степан набивал ею брезентовую сумку, мужик стоял рядом с ним, держал безмен – собирался вешать.

- Давай действуй, Федюха! Я договорился с Пал Митричем товар подходящий, цена – тоже. Выбирай которую посуше.

Да, это была та вонючая вторина, какую Федя покупал у Прасковьи Зыкиной в деревне Ергушово. Вот, значит, откуда она... Он молчал, страдая от отвращения, стал накладывать в наволочку, в которую заворачивал валенки, выходя на рынок.

- Набивай больше, Федюха, не покаешься, - советовал Степан.

Когда уже удалялись от свалки, Федя все еще оглядывался и выражение его лица позабавило старшего товарища.

- Что, страшно? – посмеивался он. – Ад крошечный, преисподняя. Да, парень, по-разному люди зарабатывают кусок хлеба. Еще и так.

- Они на водку, а не на хлеб, - возразил Федя.

- Не спеши осуждать, - строго сказал Степан, - не спеши. Человек – что омут: много всякого горя может вместить. Я два года воевал, полгода лежал в госпиталях – всякого навидался.

- Могли бы пойти куда-нибудь на фабрику, - возразил Федя. – Остальные-то москвичи вон какие чистенькие.

- Значит, не могут. Что мы о них знаем! Осудить легко кого угодно, на это большого ума не надо. Не от хорошей жизни они так-то. Мне этих баб жалко. Как подумаю: каждая из них девкой была когда-то.

- Ну вот... Зачем же они! Смотреть противно...

- А чем мы лучше их? Разве моя стируха краше этой свалки?

- У нас совсем другое, - не согласился Федя. – Мы хлеб сеем, город кормим. А валяем – это от нужды, а не от жадности.

- Они тоже от нужды. Много ли заработаешь на фабрике? А тут золотое место. Разобраться – не в отбросах они копаются, а в деньгах. Так-то. Будь у нас такое в Пятинах – вся деревня этим занималась бы.

- Не, - опять не согласился Федя. – Кто бы землю пахал?

- Пустое, Федюха! Много мы получаем в колхозе? Вот то-то. Эти знаешь как зарабатывают? Ого! Вот ты взял полпуда, я – пуд; считай, сколько мы с тобой оба им отвалили. А небось, за день не одни мы тут побывали. Точно говорю: это не свалка, а золотой прииск.

Возвращались опять на автобусе, на трамвае...

- Ну, Митрич! Ну, Змей-Горыныч! – посмеивался Степан. – Он у них царь и Бог. И подпойт вовремя, и фонарь навесит под глазом любой из бабенок – попробуй его не послушайся. Ухорез! И денежки гребет лопатой... Угодил, как мышь в крону.

Пассажиры осуждающе – а некоторые и гневно! – оглядывались на них. От их мешков пахло скверно. Федя отводил глаза: и стыдно было, и досадно, и зло брало.

### 33.

Он купил кое-какие обновки: кепку-шестиклинку, красные калоши-тянучки, которые умельцы-москвичи клеили из автомобильных камер, рубаху праздничную, белую, в голубой горошек; ну и еще три кило крупки манной, столько же белой муки на оладьи, кулек сухого компоту... Степан Гаранин тоже запасся обновками да гостинцами, еще и побольше Федя. И оба они по пути к вокзалу купили московские сайки, дружно слипшиеся боками, и мороженое, от которого Федя даже растерялся: не успел надивиться – уже тает в руках!

На Савеловском вокзале опять они боялись милиционеров, теперь уже из-за вонючей шерсти; прятались за торговые палаточки, за камеру хранения, втискивали свои вещи в подтаявший, покрытый ошметками грязи сугроб.

Был уже вечер, но привокзальная площадь освещалась электричеством и была светла, будто днем. Федя с интересом наблюдал за всем, что тут происходило, не отходя ни на миг от вещей.

У вокзальной стены на скамье, уставленной узлами, сидели не городские, а явно деревенские женщины и тоже ели белую булку с мороженым. Проходившие мимо почему-то оглядывались на них, и на лицах некоторых Федя замечал брезгливую гримасу. Неужели тоже везут шерсть со свалки? Нет, женщины сидели вполне беззаботно, не опасаясь милиции, и одна из них, с большими печальными глазами, показалась даже Феде знакомой. Ну да, это она у шерстобойной машины в Верхней Луде так сострадательно советовала Степану Гаранину пойти в больницу, заметив кровь у него на спине.

А оглядывались на этих женщин, как догадался Федя, вот почему: руки у них были почти черны – не от грязи, нет, а от краски, точно такой, от какой черны они и у пятинских валял; краска въелась во все трещины кожи, в царапины и порезы, в заусеницы у ногтей – ее не отмоешь. И вот такими руками деревенские держали белейшую московскую булку и белейшее мороженое.

Он испытал горячее родственное чувство к ним, подумав: «Это наши...», - и опять вызывающе смотрел на тех, кто оглядывался на них с осуждением.

«Да, мы такие, - думал он при этом. – А вам-то что? Мы не воюем и не побираемся; мы работаем... Осудить-то легко, на это большого ума не надо».

- Билетов нет, - сказал вернувшийся от вокзала Степан.

- Как это? – встревожился Федя. Ему и в голову не приходило, что если есть поезд, то билетов может не быть на него.

- А так: нету и все. Передо мной бабы из Дронникова взяли последние. Им повезло.

Вот-те на! Как же теперь?

- Пошли на прорыв, - сказал Степан.

- Куда?

Он, не отвечая, подхватил свои вещи, зашагал торопливо, огля-

дываясь направо и налево, будто ожидая нападения с какой-нибудь стороны.

Пересекли суетливую толпу возле вокзала, свернули из светлого места в темноту, спрыгнули с перрона и, спотыкаясь, пошли по шпалам.

- Ты куда, Степан Клементьич?

- Не кудакай, Федюха, потом объясню. Делай, как я! Времени у нас в обрез.

Он полез под вагон, волоча за собой чемодан и сумку, - Федя за ним следом. Оказались между двумя поездами, опять поднырнули под вагон. Вынырнули – чумазый мужик с железяками в руках закричал на них издалека:

- Семафор уже открыт! Поезд вот-вот пойдет!.. Распластает вас, дурачье!

И заругался матерно. Степан, не обращая внимания на него, полез опять под поезд – тут Федя больно ударился хребтом обо что-то, застонал. Степан ему:

- Скорей, скорей, Федюха!

Наконец, очутились перед поездом «Москва-Углич», на который уже шла посадка, но с другой стороны, с перрона – там шумела толпа, слышались отчаянные крики. Степан проворно встал на подножку вагона, отпер чем-то вагонную дверь, нырнул туда и скомандовал шёпотом:

- Кидай вещи, я принимаю.

Покидали, влез и Федя; Степан по-хозяйски захлопнул и запер дверь. Осторожно заглянул в вагон – пассажиры с шумом и гамом рассаживались там. Несколько минут напряженного ожидания, когда по крикам можно было догадаться, что посадка заканчивается, поезд вздрогнул и тронулся.

### 34.

- Держись за меня, Федюха, со мной не пропадешь. Эх, Зинки нету, она б нас прикрыла от ревизоров! Ну, ничего, обойдется. Главное – едем! Пошли туда, не бойся.

Вот теперь они вошли в вагон, затолкали, затиснули вещи среди прочих. Их ругали, Степан беззлобно отбрехивался и, этак добродушно матерясь, как-то сумел не только занять хорошее местечко для себя и спутника, но и вызвать даже сочувствие, признавшись, что они оба без билетов.

- Полезайте под сиденье, тут сундук, - советовали им, смеясь. – Мы на вас сядем.

У соседей, похоже, проснулся интерес: как будут выкручиваться эти двое?

Степан, пошучивая, зорко посматривал вдоль вагона.

- Проводница, - сказал он предупреждая. – Эх, жалко, не Зинка! Граждане, ну вы тут присмотрите на нашими вещами, мы с Федюшкой удерем. Федор, за мной!

Вышли в тамбур. Тут Степан отпер дверь по ходу поезда, перешли в соседний. В этом тамбуре стояли и беседовали двое военных без шинелей, с поскрипывающими ремнями, оба чисто выбритые, на лицах обоих будто отблеск печного жара. Они оглянулись на вошедших, и почему-то сразу оробевший Степан спросил:

- Не угостите папиросочкой, товарищ майор?

Один из военных вынул из портсигара папироску, что-то щелкнуло у него в кулаке, показался огонек. Степан прикурил; продолжая разговаривать, военные ушли в вагон. В раскрывшуюся на несколько секунд дверь Федя увидел коридор, ковровую дорожку... Пусто было в этом коридоре: ни пассажиров, ни чемоданов или мешков – только ковры во всю длину вагона.

- Второй-то подполковник, - сказал Степан. – Ишь, в купейном едут! Коньячком от них пахнет! А я вот только до сержантов дослужился, потому и бегаю тут зайцем. Купейный-то билет мне предлагали в кассе, да не по карману честь. Орденов-то, Федюха, - ты видел? – у одного два, у другого один. У меня столько, сколько у них обоих.

Тут вышла проводница и строго спросила:

- А вы как сюда попали? Зачем вы здесь?

- Да покурить зашли с товарищами офицерами, - не моргнув глазом, отвечал Степан.



- Идите, идите в свой вагон. Нечего тут! Ить, заперто было. Или я не заперла?

Пришлось вернуться.

Так и ехали: то и дело выходили в тамбур и возвращались к своим вещам. Степан пошучивал с соседями, но поглядывал беспокойно, был все время настороже, и не зря: в дальнем конце вагона, там, где проводница, появились вдруг двое в форменных шинелях и фуражках. Степан снялся с места особенно легко и проворно. Выскочили в тамбур, он отпер боковую дверь, скомандовал:

- Делай, как я! Руками за поручень, ногу закидываешь туда, понял? Нащупаешь, на что встать, и смело махай. Вниз не гляди. Не трусь! Постоим на буферах, пока ревизоры пройдут.

Распахнул дверь – ветер и грохот колес вырвались в тамбур – и вдруг исчез. Феде показалось, что Степана снесло ветром, но услышал его спокойный голос:

- Давай, Федюха!

Федя ухватился за поручень, закинул ногу вперед по ходу, и нога, верно, нащупала там, за углом, на что опереться. Тотчас рука Степана схватила его за плечо, и Федя оказался между вагонами. Внизу бежала неразлично земля, мимо мелькали заснеженные деревья и столбы, проплыла будка, возле которой стоял человек с поднятой палочкой. Порывистый ветер набрасывался на них, пытаясь оторвать от поезда, но Федя плотно вжался спиной, уперся руками в какие-то железяки, ноги стояли уверенно.

Степан же с кошачьей ловкостью извернулся, захлопнул дверь вагона, даже запер ее и стоял теперь рядом с Федей на сцеплении вагонов; там ему было неудобно, и он, некоторое время спустя, вдруг оперся ногами на что-то, подтянулся на руках и вылез на крышу.

- Иди сюда, Федюха! – раздалось оттуда бодро и весело.

Скажи ему сейчас Степан Клементыч: давай, мол, прыгай с поезда – прыгнул бы! Такую он имел над ним власть.

С отчаянной решимостью Федя тоже оперся ногами на какие-то поперечины, подтянулся, опять Степан подхватил его, и оказался на крыше. Ветер чуть не сорвал шапку, от паровозной гари запершило в горле, но – виден стал весь поезд, плавно изгибавшийся на поворо-

те; впереди светили огни, грохот отдавался справа и слева коротким эхом, вверху в рваных облаках мигали звезды – все это изумляло и приводило в восторг и трепет.

Степан выпрямился во весь рост и отправился по крыше так, будто под ним твердая земля, а не качающийся вагон. Махнул рукой: за мной, мол. «По головам!» – ахнул Федя, представив сидящих внизу.

Перепрыгнули на крышу следующего, прошли и его и спустились опять на буфера. Степан извернулся, отпер дверь и исчез. Оттуда послышалось: «Давай сюда, Федюха!». Федя с замирающим сердцем нащупал рукой поручень, ногой – порог тамбура, перемахнул, почувствовав поддерживающую его руку и тотчас услышал ободряющий голос:

- Не бойся, парень! Со мной не пропадешь.

Вошли в вагон, Степан настороженно спросил у сидевших возле входа: «Ревизоры не проходили?» Ему отвечали: «Проходили, проходили... Вас искали».

- Присядь-ка тут, Федор, - приказал он. – Я потолкую...

И стал пробираться по вагону. На середине остановился, с кем-то заговорил – это оказались те женщины, которых он так насмешливо называл «дронниковскими клухами». Опять у них был заплаканный, убитый вид.

Вернулся, страдая, как от боли.

- Попались дурехи... Едут ни с чем, с пустом.

- Как попались?

- А так... На Каланчевском рынке. Говорил я им: надо было на Перовский! А там они под облаву угодили, отобрали у них сапоги... Одни подушки свои назад везут. Про билеты я тебе соврал, Федюха, прости: билеты-то я купил да вот им отдал там, на Савеловском вокзале. Гляжу, сидят и ревут – совсем безо всего остались: ни денег, ни товару. И домой им ехать не на что. Вот так... Нет, брат, опять же скажу тебе: не получается как-то в улье-то. Пчелы друг дружку не обижают, а мы... И кто такие порядки завел, а?

## 35.

На рассвете поезд пришел в Калязин. Пятинские валялы слезли, причем на перроне Степан опять оглядывался настороженно:

- Твою мать... - сквозь зубы ругался он. – Будто не у себя дома, а на вражеской территории. Когда эта война кончится?

Было довольно морозно. Туман стоял плотный и слоился куделями, будто хорошо избитая лицевочная шерсть. Ветки привокзальных деревьев, кусты, покосившийся забор и сами станционные строения были мохнатыми от инея. Феде подумалось, что вот такими же мохнатыми, в пушистых клочках бывают малые валки – бегунки и ленивцы – у шерстобойной машины. Его даже развеселило это сравнение.

Когда уже отошли от станции, отпустило их душевное напряжение последних дней; оба они этак расслабились, шагая твердой хрусткой дорогой, и все веселило, все радовало Федю Бачурина. Теперь и он нес свои вещи, перекинув назад и наперед: позади наволочка с шерстью, впереди поддерживаемый руками, более тяжелый, чем задний котуль, чемодан. Из чемодана, казалось, пахло московскими сайками, и Федя старался не думать о них, иначе неудержимо хотелось остановиться и достать одну саечку.

Еще в поезде, когда подъезжали к Калязину, он вытащил из чемодана горсть сухого компоту и положил в карман. Теперь доставал оттуда то мягкие дольки яблока, нежно-кислые, запашистые («Где такие растут? Небось, на Украине или на Кавказе?»), то сладкие горошины изюма, а то попалась большая долька сухой груши вместе с черенком. В Пятинах только одна груша – у Дарьи Гуровой, но плоды деревянистые, горько-кислые, почти несъедобные; эта же, чья долька оказалась у него в кармане, была явно из райских мест. «Неужели такое может быть – где-то висят на дереве сладкие груши?» Еще попалась одна черносливина – большая, облипшая сором; Федя разгрыз даже косточку и вот, когда жевал горьковатое ядрышко, подумал, что зря разгрыз: надо было посадить косточку в огороде – со временем, глядишь, вырос бы чернослив. И стал бы огород славен

на всю деревню. Нечего было так лихо поплевывать в стороны и зернами сладкого яблока, косточками изюма: тоже можно посадить в огороде – вот вырос бы сад, а?! Это уж на всю округу слава.

Он шел, мечтательно улыбался, а перед глазами плыло: крыши вагонов, по которым они со Степаном шагают... шумная толкучка Перовского рынка... Савеловский вокзал и позванивающие трамваи...

Вспомнилось, как на Перовском-то зашли в столовку, где Степан заказал (Федя даже засмеялся теперь) сразу двенадцать порций манной каши. Официантка удивилась, посмотрела на них насмешливо, а Степан ей:

- Муж-то жалеет?

И она сразу переменялась, поласковой стала и уж на Гаранина Степана поглядывала свойски. Они очистили все двенадцать тарелок, принесенных ею.

- Понравилось?

Чего и спрашивать было!

- Давай еще дюжину, - сказал Степан официантке.

- Потом еще столько? – спросила она.

- Там видно будет. Мы люди простые, питаемся только манной, как пчелки медом. В один присест поедим – месяц сыты.

Живот и нынче еще помнит вчерашнюю кашу.

Дорога, по которой шли – Степан впереди, Федя сзади – обтаяла в последние теплые дни, а ночами ее опять сковывал мороз. В низинках ее уже размывала вода.

- Еще день-два и водополища начнется, - говорил Степан, обращившись на ходу. – Все, весна!

Вошли в лес, и тут солнце, только что вставшее, вызолотило верхушки заиненных осин. Тишина была – ни ветерка, ни птичьего свиста – только бодрый хруст по крошащейся под ногами путников дороге.

- Красота! – бодро сказал Степан. – Мы победили, Федюха! Верно я говорю? Мы победили... - и продолжал бубнить – Нас не так-то просто... Голыми руками не возьмешь, как ежей!

Теперь, когда вокруг все было так привычно и знакомо – лес,

поля, кусты, деревни по сторонам дороги и сама эта дорога, низинки, наполненные талой водой, - мир, оставшийся позади, казался Феде Бачурину... как его определить? Это был неправдоподобно другой мир, и все тут. Совершенно другой, ни в чем не похожий на здешний, к чему привык. Даже не верилось, что побывал там – уж не приснилось ли? Будто рыбка, выскочившая на берег, чудесным образом вернулась в воду и плыла теперь, радуясь родному и дивясь тому, что было, - вот такое чувство владело Федей.

- Степан Клементыч, ты согласился бы в Москве жить?

- Я? А чего ж... пожил бы.

- В большом доме? В городской квартире?

- А чего ж! Не деревенскую же избу возле Савеловского вокзала ставить!

- А где б ты работал?

- Да хоть где: на заводе, на железной дороге... хоть улицу мести – лишь бы деньги платили. А если приладиться сапоги валять, так я и вовсе забогател бы – ого! Я у Иннокентия в квартире в ванную заглянул, примерился: там каточек поставить, горячая вода есть, вентиляция работает – валяй себе на здоровье! Конечно, квартира не его, там три семьи, а если б дали мне целую-то квартиру – я б всю Москву в валенки обул... Себе радио купил бы. Видел у него радио? Вот то-то.

Вдруг открывшиеся возможности воодушевили Степана Гаранина, он даже зашагал веселей; до Феде долетали обрывки его рассуждений:

- Чего не жить! Хлеб в магазине, пиво в ларьке... если еще огородик приткнуть где-нибудь, чтоб картошечка, лучок с чесночком, то и се... кум королю!

Федя засмеялся: представил себе огородик возле Савеловского вокзала, и корова Гараниных Ромашка тут же привязана... А мимо трамваи идут-позванивают, Степан картошку сажает.

- Пожил бы! – бодро говорил он, оборачиваясь к смеющемуся Феде. – А только потом опять вернулся бы в Пятины.

Федя озадачился:

- Чего так?

- Ну их всех на хрен, Федюх! В гостях хорошо, а дома лучше. Погляди, вон грачи на проталине ходят. Спроси у них, чего они с теплых-то стран вернулись. Оставались бы там! Ан нет, прилетели. Вот то-то.

- Так-то оно так, - рассудительно заметил Федя, - а только в Москве за работу деньги дают, а у нас – палочки в трудовую книжку ставят.

- Да в гробину их мать, Федюха, не век же так будет! Ну, авось переменится когда-нибудь! Мордуют, мордуют, да и устанут, а? Ну под себя же гадят, сволочи!

Он заругался матерно и замолчал, шел рассерженный – не подступись.

## 36.

Пасха пришлась на водополицу. Вернее, на ту пору, когда большая вода уже схлынула, поля обнажились, снег сохранился лишь в затеньях – под деревьями, с северной стороны строений, в ямах.

В страстную субботу через Пятины потянулись в Знаменское старушки и пожилые женщины, каждая несла в руках узелок с куличом – святить. У одной богомолки это был сдобный каравай из белой муки, сбереженной за долгие месяцы; у другой – ржаной хлебец; у третьей – просто лепешки. И конечно, в каждом таком узелке было крашеное яичко, а то и два.

Некоторые шли с пустыми руками – откуда взяться куличу-пасхе, коли нет муки, и кто сложит яичко, если нет куриц? Запасы у многих кончались, но уже можно было переходить на подножный корм: крапивка, щавелек... или вот еще подспорье – на полях выталяли «тошнотики» – прошлогодние картошины. От одного их вида с души воротило, а уж запах! Но это все-таки была еда. Если высушить в печи да растолочь – получится темная крахмальная мука, из которой можно печь лепешки. Однако не «тошнотики» же нести святить в церковь!

Федя привезенное из Москвы поел быстро – много ли и привез-то! К тому же крупу манную пришлось обменять на два ведра картошки, а то нечего будет садить в огороде, семенную-то всю съел. Долго крепился, но, наконец, сходил тайком на колхозное поле, однако же ему не повезло: собирать «тошнотики» приходили туда и ергушовцы, ихний колхоз совсем бедный, на своих полях они давно уже все повыбрали, так и на пятинские повадились.

Но, может, и хорошо, что набрал всего с десятков тошнотиков: и сварил, и растолок, и лепешки испек, но есть это как? Больше десятка не одолеть.

Когда-то в округе было несколько церквей: и в Баулине, и в Высоком Борке, и в Верхней Луде – теперь их или заняли под склады, или просто разрушили. Служили только в Знаменской, и как в прошлые годы, во время пасхальной всенощной церковь оказалась набита битком, а народ все прибывал; старые хотели помолиться, а молодые – просто так, потолкаться, посмеяться – короче, повеселиться, как на «беседе».

В самой-то церкви торжественная служба, а вокруг и особенно на паперти – толпа гомонила; девчата похихикивали, парни курили, поплевывали семечками, ребяшня тузила друг друга.

Вчетвером – Федя, Вовка, Мишка и Костяха – протиснулись пятинские в церковь. Ну что там: старушки молятся, то и дело осуждающе шипят:

- Перекрести харю-то, безбожник!

Уж от одного этого беспокойно было, не по себе. И тут Федя увидел в толпе девичье лицо, показавшееся ему... То есть он подумал, что это может быть... или ошибся? Снова глянул туда, где у стены жались кучкой незнакомые девчата, и увидел ее... Да, это была Тамара Казаринова из деревни Лари. У Феди екнуло сердце, и он стал поспешно вытискиваться вон, чтоб она не увидела его случайно.

Почему не хотел, чтоб увидела? А Бог ведает! Да чего там: стыдно было... Она знала его в самую жалкую пору, еще когда он

не сваял пять пар валенок и не съездил в Москву. Тогда он решил – вот дурак-то! – пойти «по миру»: ведь к ним-то явился за милостыней. Конечно, за милостыней, как нищий, чего уж там! Это очень стыдно. Она, конечно, тотчас вспомнит, как он сказал тогда: «А потом вы меня накормите».

Толстая старуха зашипела на него громко:

- Да что ты, леший! Задавил меня вовсе.

Во какая злая попалась! И праздник ей не в праздник. На этот её возглас Тамара Казаринова оглянулась; на мгновение Федя и она встретились взглядами.

- Экой, прости господи, жердьяй! – продолжала ругаться свирепая старуха, и крестясь, и окидывая его злым взглядом. – Большой, а без гармоньи.

То есть ростом-то с жердину, а дурак-дураком. Федя, красный весь, уже от дверей еще раз оглянулся и увидел, что Тамара, глядя на него, смеется. Нет, она не обидно над ним смеялась, совсем нет, а как бы ободряла его... она опять сочувствовала ему! Так понял Федя, и тут ему удалось вытиснуться вон.

Немного погода, когда отдышался и поуспокоился от волнения, опять ему захотелось протиснуться в церковь и увидеть Тамару, так нарядно одетую – в цветастой шаленочке, заправленной в воротник пальто. Какая она красивая!

Нет, не решался войти. А так хотелось!

Вдруг возгласы слышались из церкви:

- Ай! Ой!

И выбрался оттуда знакомый парень из Веселухи. Парень нырнул в сторону, неся что-то в руках. Ну да, чей-то узелок! Вокруг него тотчас посгрудились, каждый отламывал себе кусок от круглого кулича. А он, уминая за обе щеки, рассказывал, как из-за чужих спин вырвал пасху у какой-то старухи. Почему-то всем было смешно.

- Давай еще! – подзадорили в темноте. – А ну, кто пойдет?!

Когда молящиеся повалили из церкви для крестного хода, во всеобщей толчее поживились самые нахальные – они просто вырывали пасхи из немощных старческих рук и тотчас исчезали в темноте. Возникла суматоха. Слышались вскрики, а то и ругань.



Мишка с Зюзей появились откуда-то, потянули Федю в сторону:

- Иди сюда! У нас тоже есть, угостим. А Костяха где?

- А ну его! Пусть не зевает.

Отошли за кладбищенские липы, Мишка торопливо разламывал кулич-пасху, возбужденно говоря:

- У девки вырвал, и тягу. Зюзя меня загородил. Молодец ты, Вовка!

- У какой девки? – машинально спросил Федя, не в силах устоять перед соблазном: ему отломил изрядный кусок пасхи.

- Да чужая какая-то, черт ее знает! Их там целая толпа. Дальние, кажись... из Верхней Луды, что ли.

- Из Ларей, - уверенно сказал Зюзя. – У нее отец хромоногий. Я их на маслобойке видел.

- Она тебя узнала? – спросил Мишка.

- А я-то тут при чем! – хохотал Зюзя. – Не я же, а ты у нее выдернул...

Тут они оба посмотрели на своего ошеломленного товарища.

- Ты чего, Федюха? Смотри-ка: не ест. Сытый, значит.

- Его Бог наказал: кусок встает поперек горла.

- Ну и правильно: на чужой каравай рот не разевай.

- О, смотри-ка, тут пара яичек!

- Дай сюда! – Федя грубо отобрал одно.

Второе ему не дали, на его глазах облупили и съели.

То пасхальное яичко несколько дней лежало у Феди на столе, будя в нем сложное чувство. С одной стороны он знал, что оно и покрашено Тамарой Казариновой, и ласкано ее руками, и любовались им ее глаза – все это он создавал, радуясь и волнуясь. Но в то же время оно служило немым укором: ведь краденое! Вернее, отнятое, добытое путем грабежа...

Через несколько дней, вздыхая, Федя осторожно облупил и съел-таки его, а нарядная скорлупа долго лежала, радуя и казня... он не в силах был выбросить ее.

37.

Посевная началась на пасхальной неделе. Как и в прошлые годы, пахали сначала Белый Угор – это поле повыше прочих, тут земля подсыхала раньше. Потом перешли на Клюкшино, оттуда - на Сиротининский отруб.

Выезжали в поле рано, едва взойдет солнце; в середине дня лошади отдыхали, пахари спали на лужку под жавороночий звон. Комаров еще не было, спалось сладко, но... избави Бог, увидит Дарья!

Председательница смилостивилась, дала пахарям по полпуду ржи каждому, боясь, что иначе не потянут они работу – кого тогда ставить за плуг? Федю аванс подбодрил сильно. Он смолот рожь у Никишовых, сам замесил хлеб, сам испек: получился солоделький, корка отстала, мякиш будто из глины, липкий, не ноздреватый, но это был запашистый и вкусный хлеб! По утрам, собираясь в поле, брал с собой ломоть, а уж там ел, посоля круто, - силы сразу прибавлялось.

По дороге мимо пахарей иногда проходили нищие, они не останавливались. Остановился Вася Бельский:

- Нет ли хлебушка кусочка?

Догадывался, хитрюга, что берут они с собой.

- А вот становись за плуг, - предложил Мишка Задорный. – Вспашешь эту залого – дам тебе хлеба.

Вася поглядел на его Кралю, потом на залогоу, сказал тихо, смиренно:

- Не умею я...

И ушел. Провожая его глазами, Федя видел, как идет Василий Семеныч, оглядываясь по сторонам, - наверно, слушает жаворонок и, небось, пришептывает сам себе: «Хорошо-то как! Солнышко светит, птички поют...». Вот только брюхо ему покою не дает, брюху-то не до красоты.

Утром, перед тем как запрягать Серуху в плуг, Федя успевал что-то поделывать по хозяйству: копал свой огород, чинил изгородь, делал гряды. Раньше всех начал садить картошку. Боялся, что не хватит ее для посадки, поэтому сначала проращивал на солнышке с неделю, потом каждую картошину разрезал, деля на две или даже на три части – так садил.

Навозу у него не было, раз не было ни Хвалёнки во дворе, ни овец, ни даже кур. Но он поскреб по углам двора и картошку сажал не просто в землю, а в навозную труху, что, пожалуй, полезней, чем в навоз. Потом возил свежий от Никишовых, соседей напротив, - жалко ли им, все равно на колхозное поле вывозят. На носилках бы носить, да ведь кто придет помочь? Пришлось сделать тачку, и получилась она такая ладная, что позарилась Катерина Пряжина, попросила и ей сделать такую же. Он смастерил, за что она принесла криночку молока...

Таким-то образом ему иногда перепадало. Мотовилины маялись с носилками – ломаны да гнилы. «Чего маетесь! – сказал Федя. – Давайте сделаю. Есть доски-то? И сделал крепкие, удобные – Шура Мотовилина ему за это немного картошки – посадил еще два боровка.

- Рано садишь, - остерегали его. - Гляди, мороз грянет.

Мороз не грянул, но по ночам было холодновато, и Федя боялся за свою картошку. А еще он боялся, что резаная-то не взойдет. Но возшла, правда, нескоро. Сначала росточки показались кое-где, потом их стало больше. Тут как раз выпали погожие дни – и зазеленела картошка.

Пока тревожился за нее, крестна попросила вспахать ей огород. Ну, он у нее удобный – не то, что свой. На бачуринском-то посреди-не колодец да и кусты там и тут, его надо копать заступом. А у крестны Федя вечерком живо вспахал – она ему за работу две криночки молока от Хвалёнки принесла, то есть сначала одну, а на другой день вторую.

И вот когда пахал аверинский-то огород, выскочил вдруг со двора теленочек, черный, в белых чулочках на передних ногах, с белым пятном на лбу – точь-в-точь как Хвалёнка в этом возрасте. Федя Серуху остановил, заулыбался, залюбовался.

И долго потом не выходило из головы, так и виделось: бежит черный теленочек, поматывая головой, остановился, уставя глупые глаза... вот вбегает он в бачуринский двор и – к яслям со свежей травой. Что если бы так-то, а?

Но пока что никого не было в хозяйстве у Феди, кроме кошки Мырзи с котятами.

Где бы ни работал – на Клюкшине ли, на Сиротининском ли Отрубке – обязательно прихватывал колышков: парни сядут перекурить, а он в лес с топором. Вечером загораживал этими колышками прорехи в изгороди. Обветшала она, одними колышками не поправишь – столбы нужны! Но за столбами надо в лес ехать, а кто разрешит там дерево спилить? Значит, украсть. Нешуточное дело – украсть; поймают – такой штраф дадут, что ничему не возрадуешься.

Он вставал утром пораньше, когда товарищи его еще спали, вставал, говоря себе: «Мне в постели нежиться нельзя... Я один, у меня хозяйство».

Все озабоченней поглядывал на крышу: прогнила и просела местами солома, как дождик – так с потолка течет. Этак погноишь и всю избу. Значит, вот когда будут молотить рожь у риги, надо просить у Дарьи Гуровой соломы. Даст ли?

Из Барской усадьбы привез два куста одичавшей черной смородины; у Костяхи Крайнего выпросил кустик вишни – посадил и то, и другое, порадовался. С закраины поля прикатил к дому облюбованный давно уж камень-валун, на нем топор точить хорошо, старые гвозди прямить да и мало ли что – опять доволен был. На своей усадьбе вешней водой нанесло мусору – расчистил ее, чтоб молодая травка хорошо росла – и от этого хорошо на сердце.

Забот не убывало день ото дня, а словно бы прибавлялось, но постоянно кое-что и радовало, как результат стараний: на грядке уже всходила морковка, пустил перья лучок, соседи завидовали на его изгородь...

«У меня все путем», - говорил себе довольный хозяин и зорко осматривал свое владение: где и к чему нужно срочно приложить руки, чтоб поправить, улучшить, привести в порядок – со всеми этими мелкими заботами управлялся он в краткие перерывы между пахотой.

Ночью даже сны не успевали присниться. Только на краткое мгновение, когда ложился в постель, приходило, как видение: все от-

валивается, отваливается от плуга земля. Даже саднившие мозоли не отпугивали этот тяжелый сон: на обеих руках – пузыри кровавые, а на правой один налезал на другой, и оба кровоточили... Вечером, когда кончал работу, саднящая боль на ладонях усиливалась. Но все равно засыпал: непрерывно, неостановимо было движение земляного пласта перед глазами, отчего Федя тотчас закатывался, будто в пропасть, в сон, а длился он так кратко!.. Успел вроде бы только вздохнуть поглубже, и уже петушиный крик по деревне, и кто-то подсказывает: вставай, это уже третьи петухи. Пора вставать да и запрягать Серуху в плуг...

То была первая весна, когда только они четверо – Федя, Мишка, Костяха и Вовка – единственно они были пахари в колхозе имени Первого Мая, а больше-то кто? Иван безрукий да Иван безногий...

Степан Гаранин пахал только в первые дни, а потом разболелся. Но, маленько оклемавшись, опять запряг прихрамы-вающую Чебу-тыку в плуг. Во время перекура спросил Федю:

- Ну что, валяло, не съездить ли нам опять на Перовский, а? Шерстеночка-то у тебя есть...

Федя мысленно прикинул: это значит, снова на шерстобойку, потом в стируху... И тело, и душа противились такой работе. Но... на Перовском рынке в ларьке видел: продавались суконные штаны, темно-синие, неизносимые. На гулянье ведь выйти не в чем; то есть, конечно, кепка и рубаха новые, и валенки новые, а штаны – в заплатках... Значит, надо, надо на Перовский ехать. Так-то оно так, да по ночам ведь придется валять! Сил нет.

- Сейчас не соберется, - подумав, ответил Федя Степану. – Может, в конце лета.

- Или в Орехово-Зуево? – сказал Степан сам себе. – Если сам не смогу – жену пошлю. Вот собачья жизнь, а!?

38.

После посевной, когда стало немного полегче, посвободнее, Костяха Крайний купил вдруг в Калязине велосипед. Ну, Сентюрины жили покрепче прочих; поговаривали, им от бабки что-то досталось, вот Костяхина мать и раскошелилась. Этот велосипед, сиявший никелировкой и свежей краской, совершенно свел с ума не только самого Костяху, но и Мишку с Вовкой; а Федя полез в постельник, набитый соломой, выкопал завернутый тугой сверточек, пересчитал деньги: не может ли он тоже купить эту сиятельно красивую вещь? Выходило, что может. Денег как раз хватало, только уж после такой покупки не останется нисколько, разве что несколько мятых рублей.

Костяха учился ездить на велосипеде аккуратно перед бачуринским домом – тут луговинка ровная. И видеть это Феде было просто невыносимо – велосипед сверкал на солнце спицами, празднично позванивал в звоночек, сочно поскрипывало седло; Костяха ростился, крутил головой: смотрит ли кто, как он катается? Он снисходительно давал поучиться и друзьям, но это ж надо было просить у него! Тут Костяхина воля – дать или не давать; он сразу стал выше их, и все вдруг оказались ему должны.

От мук зависти Федю излечило вот что: чуть дальше, за луговиной, возле аверинского огорода гуляла привязанная на веревочке дочка Хвалёнки; ее так и звали – Дочка. Она смотрела и на велосипед, и на его владельца с глупым недоумением, и это было очень смешно. То есть Федя увидел вдруг, как смешон Костяха, выделяющийся круги по луговине, если смотреть на него глазами Дочки. Ну, что такое велосипед? Он молока не дает, на нем ни навоз со двора не вывезешь, ни воды из колодца не достанет, не пашет он и не сеет, а если сломается, то сразу же не будет стоять ничего. Скотина ломает ногу – ее на мясо; а если отвалится колесо у велосипеда, тогда что? А ничего, просто железяки, вот и все. Так какой прок от него в хозяйстве? Разве что пофорсить... Баловство это, напрасно так ростился Костяха.

Совсем другое дело – Дочка. Вот она подрастет и станет короной. Если бы ее купить, а не эту игрушку – велосипед?.. И так ясно

представилось Феде: вот стоит она у него во дворе, уже взрослая корова... вот он выходит к ней с подойником...

Интересно, сколько за нее запросит крестна? Неужели не хватит денег? Что бы такое продать, чтоб выручить их? У него есть шерсть, восемь киллов. Что еще? Сено с усадьбы, которое накопится нынешним летом... Нет, сено продавать нельзя – чем тогда кормить Дочку?

Он отправился к Авериним «поторговаться»: за спрос, ведь, денег не берут.

- Нет, Федюшка, - сказала крестна, вздохнув. – У Вальки свадьба на носу, я ей обещала Дочку.

Федя пригорюнился: все так хорошо выстраивалось – он вырастит из теленка настоящую корову! Это была бы его собственная корова, одному ему принадлежащая. И вот поди ж ты...

- А ты вот что, парень, - посоветовала крестна, подумав, - раз у тебя денежки-то завелись, купи пол-коровы, а? Я тебе продам. Мне одной-то не под силу держать Хвалёнку – сена со своей усадьбы не хватает, а покупать накладно. Да и какая у меня семья будет!

Дочь Валька теперь вот уйдет из дому, раз замуж-то выходит. Останется крестна вдвоем с Люськой, девчонкой помладше Феде.

- Хвалёнку на оба наши хозяйства как раз хорошо: тогда у нас будет две усадьбы – сена хватит. Давай-ка, подумай, прикинь, может и сговоримся.

Федя ушел от нее взволнованный: не о теленке речь, который когда-то еще вырастет – через два года! Молоко будет уже сейчас. На половину коровы денег у него явно не хватало, но ведь речь шла о Хвалёнке! Вернуть ее во двор значило гораздо больше, чем занять пол-коровы. Хвалёнка помнит прежнюю хозяйку, знает ее руки, и его знает, Федею. Выходя во двор, он будет снова слушать ее дыхание, и родной дом станет не пустой, а одушевленный.

Вот только где взять денег? Занять? Но кто даст? За шерсть много не выручишь: вторина все-таки, не лицовка. Если же не продавать, а наоборот, прикупить лицовочки и свалять бы пар шесть-семь валенок, да съездить в Москву... Можно и десять пар свалять да продать! Ведь это, погоди-ка, сколько он выручил бы денег...

Легко так подсчитывать-то, а свалить какво! Уже наступила сеннокосная страда: к вечеру всякий день Федя уставал так, что лишь бы до постели добраться. К тому же дни стояли жаркие и были они бесконечно долги, а ночи коротки настолько, что за день наработавшись – не выспишься. Нет, не до стирухи теперь. Единственное, что пока было ему посильно: кое-какие хозяйственные хлопоты.

Но, что же, время еще есть: крестна половину Хвалёнки будет продавать не теперь, а не раньше осени. Значит, где-то в сентябре или октябре он должен обернуться в Москву, на Перовский рынок.

И уже пробудилась мысль, которая заставляла приглядываться к огороду: неплохо бы тут устроить собственную стирушку. Не век же ходить в чужую! Раз пустят, два пустят, а потом скажут: нет, парень, ты мешаешь, надо свою иметь.

Но огород бачуринский открыт со всех сторон; не было тут густого вишенника, как у Гаранина Степана, и не было двух огромных елей, как у Никишова Ивана.

### 39.

Степан Гаранин уже свалил двенадцать пар и надумал поехать на этот раз в Ленинград, вместе с Иваном безруким, но опять разболелся, и вместо него отправилась жена Рая.

А на другой день в Пятины приехал калязинский милиционер Белов, взял с собой понятых и – к Гараниным с обыском. Одним из понятых была Дарья Гурова, которая, как рассказывали потом, оправдывалась, переступая порог его дома:

- Прости, Степан, не своя воля... Я на должности, мне иначе нельзя. А тебя я не раз предупреждала: рано или поздно все равно попадешься.

- Разве не милицейскому начальнику отвезла ты недавно полтора пуда гречихи? – отвечал, будто бы, ей Степан. – Чего он взелся-то?

Тут Дарья стукнула кулаком по столу и назвала его закоренелым спекулянтом, по которому тюрьма плачет. Он сбивает с толку народ, соблазняя его легким заработком, отваживает таким образом людей



от колхозного производства, значит, и есть он враг народа, а больше никто.

Отобрали у Степана сколько-то килограммов шерсти, разворотил Белов печь в стирухе, выломанный котел шархнул о камень, после чего составил акт и вместе с понятами отправился прямым ходом к Субботиным. Там он тоже разорил стируху, но ни шерсти, ни валенок не нашел, только колодки, по которым ясно было, что они недавно из работы.

К этому времени переполох в Пятинах стал всеобщим: и бегали, и прятали, и замирали от страха, и ахали-ахали... Федя Бачурин примчался с Ямского луга, где клали сено в копны, и проворно спустил шерсть в колодец. Это у него было обдуманно и вымерено заранее: на веревке спустить к самой воде, но не в воду. Колодец глубокий, в нем темно, ничего не разглядишь.

От Субботиных пришли с обыском и к Никишовым, но Иван безрукий успел спрятать все, что нужно прятать; на него акт не стали составлять и больше ни к кому не пошли, на этом успокоились.

Рая, жена Степана, явилась домой в этот же день, зареванная: схватили ее в Калязине еще вчера, валенки отобрали.

- Идем мы уже к станции, - рассказывала она, - Иван Субботин да наш веселухинский сват Митрий Коробков. Мы втроем сговорились ехать. Они-то впереди шагают, а я сзади со своими котулями. Догоняет меня на мотоцикле... не милиционер даже, а в штатском... какой-то дежурный, что ли... Спрашивает: валенки, мол, несешь? Ну, я от него бежать. А он за мной... на мотоцикле. Я по картошке... огороды там чьи-то. Думаю, по картошке-то твой мотоцикл не пойдет. А он в объезд! Ну, я от него успела в крапиву - крапива высоченная - ляпнулась там и лежу. Не найдет, думаю. Мотоцикл-то, слышу, фыркает неподалеку где-то. Пофыркал да и замолчал, вроде, уехали. Ну я и высунулась. А он, оказывается, стоит! Однако спиной ко мне, еще не видит. А какая-то баба из городских и показывает ему на меня: вон-де, мол, она, держи ее! Я было опять бежать - где там! Догнал, схватил, повел. Я иду, ору... Дорогой спрашивает: кто еще с тобой? А я ему: никого не знаю и тебя, паразита, впервые вижу.

- А Иван? - спрашивали Раю.

Ивана-то взяли уж на вокзале. Сват Митрий убер, а он нет. Вот привели меня в милицию. Думаю: ни за что не признаюсь, кто я. Навру все: и фамилию, и деревню. А навстречу по коридору идут два милиционера, один другому и говорит: знаешь, мол, кто это орет? Степки Гарани баба, который из Пятин. Чего уж тут соврешь, коли узнали! Следователь стал допрос с меня снимать. Спекулянтка, говорит, то и се. А я реву: гражданин следователь, отпусти, ребенок у меня дома маленький, пятый месяц ему. А он: что же ты про ребенка-то не подумала, когда спекулировать поехала? Ну, что с ним говорить! Разве поймет... Валенки отобрали, заперли меня в каталажку, выпустили только утром. Приехала сюда, а тут...

Степан по окончании обыска вышел на работу вместе со всеми – окладывать сено в копны. Был он подозрительно весел, хоть и не пьян, песни пел.

Бывали дни веселые,  
Я по три дня не ел.  
Не то, чтоб хлеба не было, -  
Я просто не хотел.

- Степан Клементыч, как же теперь? – осторожно спросил его Федя. – Штраф, небось, дадут?

Степан поглядел на солнце, погладил левую сторону груди, вздохнул:

- Нет, Федюха, не штрафом пахнет: упрячут они меня, гады, года на два в тюрьгу. На этот раз мне не отвертеться. У них свой план, им отчитаться надо: меры, мол, приняты, столько-то спекулянтов поймано.

- Посадят?.. Как же так! – несколько раз в растерянности повторил Федя.

- Не жалея меня, Федюха! Хоть так, хоть этак, все равно мне хана. Отстрелялся я, парень... патроны на исходе.

Он стоял, опираясь на вилы, и видно было, что плохо ему: болезненно кривясь, провел ладонью по бледному, в испарине лицу, будто слушая что-то внутри себя.

— Пустое, Федюха! Когда-никогда... День больше, день меньше — какая разница!

Безнадежен был голос Степана, а взмах руки этакий бесшабашный: гори, дескать, оно ясным огнем!

— Приходи ко мне, Федюха, подарю каток и весь валяльный инструмент. Можешь и скребницу забрать — мне уж не пригодится. Тебе — другое дело! Кто не рискует, тот не пьет шампанское...

#### **40.**

Рожь жали и серпами и жаткой; возле крытого колхозного тока уже высились круглые скирды из ржаных снопов — им стоять до осени: председательница сказала, что в сентябре в Пятины придет трактор с молотилкой. Но возле Ощепковой риги, не очень-то надеясь на технику, каждое утро молотили цепями, — этой соломы каждый выпрашивал себе у председательницы, хоть беремья: только такая годилась в банные дни.

В Пятинах, как и во всей округе, бань не было, мылись в русских печах — так повелось испокон веков. И вот тут нужна именно прямая солома: ее постеляют и на шестке, и дальше на поду печи. Залезешь туда, загородишься заслонкой и попаришься с веничком, и помоешься, и вылезешь чистенький. А без подстилки как?

Федя выпросил себе целый воз: крышу крыть. Та, что от молотилки тракторной, на это дело вовсе не годилась. Привез, аккуратно сложил возле дома и приступил, не мешкая, к делу: старую, поросшую крапивой да лебедой, сбросил вниз — сколько оказалось в ней воробьиных гнезд! Изба, оголенная сверху, стала похожа на объединенную рыбу. Спешил: ну как начнется дождь! Но пришлось повозиться с прогнившими рогами стропил — они шатались и вываливались, а без них как будут лежать жердины, с помощью которых солома удерживается на крыше? Многие из жердин тоже погнили — опять забота: днем, таясь от лесника, заготовил их в лесу несколько и спрятал в самой чаще, а ночью привез. Воровство, конечно, а как поступить иначе! Верно говорят: не украдешь — не проживешь.

И вот когда стропила были готовы, с утра пораньше встал и начал выкладывать соломенные снопы тесными рядами, начиная снизу, а потом выше и выше, пригнетая сверху жердями. А все один. Никто сверху не подаст, за каждым снопом спускайся по лестнице на землю, а пока лазишь туда-сюда, ветер треплет уложенное наверху. Приходил Костяха, помог немного. Наведалась крестна – советовать. Никишовы от своего дома подбадривали: давай, мол, сосед, рядом с таким хозяином и нам повеселей жить.

Никогда он раньше не занимался этим ремеслом, но видел не однажды, а перенять не хитро – один раз посмотришь и поймешь.

С крыши своей Федя поглядывал в сторону Гараниной избы: что там? Накануне Степан с Иваном-безруким крепко выпили, но не бузили, не кричали, а просто обнимал Иван Степана единственной рукой, а тот играл на гармошке, и оба пели. На этот раз не «Бывали дни веселые», а вот это:

Последний нонешний денечек,  
Гуляю с вами я, друзья.  
А завтра рано чуть светочек  
Заплачет вся моя семья.

И верно. Рано утром выла Анна Субботина, провожая безрукого мужа; и рыдала, как по мертвому, больная старуха-мать Степана: оба они уходили к назначенному сроку куда велено им. В Знаменском в этот день должен состояться суд, и не простой, а показательный, выездной. А потому в Знаменском, что там клуб. Примерно к полудню посмотреть, как будут судить, из Пятин пошли многие. Федя не вытерпел, бросил недокрытой крышу и тоже отправился: Дарья всех желающих отпустила – такое ей дали указание из Калязина.

Клуб был переполнен. Судья и еще двое сидели на сцене. Степан с Иваном – сбоку, у стены. У другой стены, напротив – прокурор. Федю поразило то, что сапоги, свальянные пятинскими валялами, лежали на столе перед судьей с разрезанными от носка до пятки подошвами... Зачем? Для чего? «А затем, - объяснили ему. – Экспертиза»...

.....

- А почему только десять пар? – спрашивал дерзко подсудимый Гаранин. – Было двенадцать. Куда делись еще две?

Ему отвечали, что, мол, согласно протоколу... ему не доказать про двенадцать.

- Ну, ясно, - сказал на это он. – Васька-следователь будет одну мою пару носить, а вторую мильтон Белов или его начальник.

Подсудимого грозно попросили не оскорблять должностных лиц. Прокурор вообще разошелся – сорвался на крик.

- А где ты был, когда у Ивана руку из плеча вырвало? – в свою очередь закричал на прокурора не оробевший Гараня. – И где ты был, когда меня на минном поле перепахало, заборонило и осколками засеяло? Ишь, орет он на меня... А ты мою грудь видел? Хошь, покажу?

- Уж показывал, - бросил ему прокурор. – Подумаешь, герой!

Жены подсудимых сидели с детьми на первой, самой ближней к сцене скамейке. Рая испуганно уговаривала разошедшегося мужа: помолчи, мол.

- Нет, я спрашиваю, где он был, когда мы с Иваном кровь проливали на фронте? – не унимался тот.

- В тылу сидел, - угрюмо бухал Иван Субботин, на которого повлияло бесстрашие Гаранина Степана в том смысле, что он тоже освирепел.

- Ты, товарищ прокурор, тут смелый. А вот там я на тебя посмотрел бы!

Женщина-судья пристрожила:

- Подсудимый, веди себя прилично, иначе прикажу вывести из зала суда.

- Выводи. Пролетарию нечего терять, кроме своих цепей...

- Дело ясное, - сказал подсудимый Гаранин в последнем слове. – У кого власть, у того и сила. А сила есть – ума не надо.

Дали ему и Субботину Ивану по четыре года тюрьмы и там же сразу взяли обоих под арест. Жен своих они выгородили – им ничего, хотя ясно было, что и Рая с Анной причастны к преступлению мужей.

~~~~~  
- Если б не показательный суд, - вздыхая, говорили пятинские на обратном пути, - то меньше дали бы. Да еще если б они не ершились, Гараня-то с Иваном-безруким...

Федя вернулся с того суда, как с материнских похорон, и несколько дней словно бы приходил в себя, будто его там оглоушили.

41.

А между тем проходили престольные праздники, которые так или иначе отмечались в деревнях: Ильин день – в Ергушове, Спас яблочный – в Матреновке, Преображение – в Тиунове...

- Пойдемте в Лари гулять, а? – стал уговаривать Федя друзей своих, движимый непонятным и для самого себя стремлением. – Там Успенье – праздник.

- Чего так далеко-то? – сказал Костяха. – Давай поближе.

- Ну а куда же еще? И в Ергушове, и в Знаменском, и в Тиунове, и в Баулине праздники уже прошли.

- В Ларях чужие все, - забоялся Зюзя. – Морду набьют и не скажут за что, просто так.

- Чего это! – запетушился Задорный. – Я сам набью, если хошь, любому!

- В Ларях парней – по трое на каждого из нас, - напомнил Зюзя. – Да если еще Задорожские придут...

Не удалось уговорить их, и Федя решил идти один. Ждать, что когда-нибудь повезет, и он еще раз увидит Тамару Казаринову – это все равно, что стоять в поле и ждать, не пробежит ли заяц. В Успенев день он добыл из сундука рубаху новую, надел кепку-шестиклинку, долго критически осматривал штаны, достал утюг – гладить...

Он даже в зеркало заглядывал, словно решая, а можно ли с такой-то рожей появляться в Ларях. Что же, рожа как рожа, не хуже других. Может даже и получше. Честно говоря, ему даже нравилось свое лицо: голубые глаза смотрят твердо, по-мужски, брови прямые, решительные; может только губы... детские какие-то, да и волосы выгорели на солнце. Ну, ничего.

В Лари он пришел уже в сумерках. Праздник там шумел всюду:

под окнами большого дома гомонила толпа, гармонь наяривала, девки плясали. Федя осмотрелся и увидел Тамару – она стояла тут же, возле палисадника, положив одну руку на поперечную жердь. Как-то очень красиво стояла и нарядная была...

Он подошел, встал рядом, поздоровался тихонько, так чтоб никто, кроме нее, не слышал. Она в ответ не отозвалась, только улыбнулась.

- Я из-за тебя пришел, - сказал Федя так, чтоб слышала только она, а больше никто, и повторил: - Я пришел к тебе...

- Зачем? – тихо спросила она.

Он нахмурился: мол, разве не понимаешь?

Тут к ним придвинулись двое парней, подошел еще один, все трое стали нарываться на драку:

- Откуда такой здоровенный?

Федя отвечал миролюбиво, хотя ясно было, что не то им надо.

- Из Пятин.

- Зачем пришел? Кто тебя звал?

- Сказали, у вас весело гуляют...

- А у вас?

- У нас престол в Иванов день.

- Ну и что? Не нагулялся?

Спрашивали и теснили, теснили в сторону, за палисадник.

- В морду хошь?

- Нет.

- Вася, дай ему.

И дали. С ног не сшибли, но кепка-шестиклинка улетела куда-то, подглазье вспухло, и губа оказалась разбитой.

От соседнего дома закричали бабы, заступаясь, но на них не обращали внимания, ударили по правой руке повыше локтя чем-то твердым: палкой, наверно.

- Хромай отсюда!

Он отступил. А отступя, зашагал быстрее: не догнали бы, а то разохотятся и еще добавят.

Случившееся не столько напугало, сколько обозлило его.

Не было раскаяния, что, мол, зря затеял, то и сё: перед глазами

стояла Тамара, положив одну руку на жердь палисадника, а другой теребя поясок.

И вот тут на обратном пути шалая мысль стукнула Федю в голову; именно стукнула, потому что мысль подобного рода не приходит чинно и степенно: он представил себе, что в его собственном доме хлопочет... Тамара. Да-да, она хлопочет в доме, не как посторонний человек, а как хозяйка, наравне с ним.

То есть, вставши поутру, топит печь, что-нибудь варит и печет... встречает с работы, собирает на стол. Пусть то же, что и у него на столе: вареная картошка, пареная свекла, щи из крапивы – что угодно! – но это именно ею сваренная картошка, ее пареная свекла и репа. Ведь это же... это же какое счастье – идти к своему дому и знать: он не пустой, в нем есть человек, который тебя ждет.

И кто на свете живет один? Даже воробей находит себе пару и вьет гнездо в соломенной крыше. Вдвоем хорошо, а одного замучит тоска: впереди долгая зима...

Впервые придя в голову, эта мысль не ушла тотчас, как случайная гостья, а все более укреплялась, будто пересаженное откуда-то дерево пускало корешки, расправляло веточки. Федя уже прикинул, что, выдавая замуж свою дочь, Егор Казаринов не поступит так, что вот, мол, тебе Тамара и все. Он даст за ней приданое. Не об одежде речь, одежда само собой, а вот по хозяйству что-нибудь... Например, теленка или пару овец... Или хотя бы десяток кур.

И теленка этого, и овцу с ягненокм или двумя, и куриц с петухом мысленно поместил Федя на своем дворе, и все пришлось к месту, будто двор того и ждал.

Во все последующие дни Федя часто улыбался, а иногда смеялся невпопад, удивляя своих приятелей, если те оказывались рядом.

- Ты чего? – спрашивал Задорный или Костяха сердито. – Смешинка в рот попала?

- Да так...

Прошла неделя – шальная мысль не давала покоя. И он решил: попросил у Костяхи велосипед съездить в Лари.

- Не дам, - сказал тот, даже не спрашивая, зачем да почему.

- Ну, пойми ты, позарез нужно...

- Не дам же, сказал!

Пришлось признаться:

- Сватать еду, понимаешь? Нельзя мне пешком, самое бы лучшее – на велосипеде.

- Кого сватать? Кому?

Костяха даже поглупел от недоумения, вид у него был дураковатый: он не поверил. Пришлось уговаривать, убеждать, просить... и только потом, наконец, уразумев суть дела, долго смеялся, но велосипед дал. Просто из интереса, должно быть: что получится.

42.

Все вышло так, как жених и запланировал: приехал среди бела дня, прислонил велосипед к ветле, как раз под окнами Казариновых – знакомая черная собака зарычала на него от крыльца, но не встала, продолжала лежать. Отряхнув штанины от пыли, солидно пригладил волосы, оглянулся – в окне маячило чье-то лицо, но не Тамарино, а, кажется, бабки ее. Вошел, уже самого себя не чувствуя, в каком-то онемелом состоянии, но в полной решимости сделать так, как задумано. То была решимость человека, готового на все.

Встал у двери, солидно кашлянул, сказал:

- Здравствуйте.

Отец Тамары лежал на кровати и курил. Босые ноги его с грязными ступнями свешивались к полу. Маленький парнишка, Тамарин братик, играл с котенком посреди избы, он удивленно уставился на Федю. Знакомый стульчик с дыркой в сиденье стоял возле голбца.

Тамара как раз вошла в избу, внесла ведро воды, надо полагать, ходила на колодец. Как это он ее на улице-то не видел! То была большая его оплошность: надо было сначала с нею словом перекинуться. Она бросила на него то ли изумленный, то ли испуганный взгляд и прошла на кухню, что-то там зашептала, а бабкин голос возразил ей уже погромче.

- Мне поговорить, - сказал Федя Тамариному отцу, не слыша собственного голоса, и повторил: - Поговорить надо.

Маленький мальчик встал с пола и поковылял на кухню.

серьезное, а смеяться тут совсем не к месту.

- Отдайте за меня Тамару, - такой фразой закончил жених, поскольку вспомнил, что кажется, именно так сватали сестру Лидию.

Тут распахнулась дверь и появилась гневная хозяйка.

- Егор, - сказала она, - поимей ты совесть! Люди тебя ждут, а ты расслаживаешься, глупство какое-то затеял.

Но Егор был мужик, по всему видать, не из тех, кто жены боится. Он хлопнул по столу ладонью и бросил на жену взгляд – она осеклась. И осеклась, и прошла в избу, села на лавку.

- Вот парень пришел, - сказал Егор, - нашу Тамару сватает. Хороший человек, хозяйство имеет. Работящий. Помнишь, как он у нас дрова колол?

Говоря это, Егор был серьезен, только в глазах у него черти прыгали.

- Это тебя на празднике-то наши дуралеи избили? – со-страдательно сказала «свату»-жениху Тамарина мать. – Да неуж из-за нашей девки? Ай-я-яй! Слышишь ли, дочка! Ну-ка, выйди.

Вместо Тамары вышла бабка и заявила, шамкая:

- Полно тебе безделицу-то городить, Егор. Постыдись, ведь не маленькой. А ты, паренек, иди-ка отсюда вон, иди. Како тако сватовство? На смех, что ли? Так мы и за уши можем оттащить. Экой жених выискался!

- Ну, погоди, мам, - остановил ее Егор. – Худого тут нет. Он не воровать пришел, а честно-благородно... Я б на такое не решился, ей-Богу, а он вот... Это, знаете ли, смелость надо иметь, характер. Потому он мне нравится. А, Катерина? Хороший был бы зять, верно?

- О, Господи! – вздохнула Катерина и разразилась вдруг смехом. – О, Господи! – повторила она и залилась еще пуще.

И хозяин тоже засмеялся.

- Сколько тебе лет, жених? – спросил он.

- Семнадцать, - рассердился Федя. – Вы что, сами не видите?

Ну, семнадцати ему еще не было, годик прибавил.

- А полно, полно, паренек, - зашамкала старуха. – Поди домой, поди. Ишь, что он надумал!

Выручил Тамарин братишка: он выбежал из кухни и, чего-то

требуя, потащил бабу сзади за подол цветастой юбки и захныкал. Бабка ушла.

- А ведь я о тебе, парень, кое-что слышал, - вспомнил Егор. – Кто-то мне рассказывал. Ты ведь из Пятин... А как там у вас Серега Караулов?

- Дядь Сергей не вернулся с войны. Убили.

- М-да... Хороший был кузнец. Гуляли мы с ним, бывало, вместе в парнях. Однажды подрались даже, забыл из-за чего. Но я не в обиду, нет. Я его уважал. А Семен Мотовилин что?

- Убили.

- А Пряжин Васюха?

- Тоже убитый.

- Прямо хоть не спрашивай ни о ком... Ну, а Бачурин Алексей? Федя остро глянул на Егора и сказал после паузы:

- Пропал без вести... Это мой отец.

- Э, да ты вон чей - Бачуриных! – словно обрадовался Егор. - Как же, знал, знал я и отца твоего, и мать. Что ж, из хорошей семьи, значит... Ну-ка, жена, собирай на стол. Гость пришел, а мы не угощаем. Там, - он кивнул на окно, - без меня обойдётся.

Отвечая на его вопросы, Федя рассказал, какой работой заняты в колхозе, сколько выдали в прошлом году на трудодни, сколько ожидают в нынешнем, удоисты ли коровы, как с рабочими лошадьми...

Тамара, пылая лицом, внесла и брякнула на стол ковригу хлеба: вот, мол, тебе, женишок, подавился. Еще угощать тебя! Больно надо.

Егор, прижимая ковригу к груди, стал отрезать ломти.

Федя, может, не совсем кстати сказал, что недавно покрыл крышу новой соломой, но что-то не нравится, на будущий год сам же нащепает дранки и сделает новую – драночная крыша гораздо лучше соломенной.

- Самостоятельный парень, - сказал жене и матери Егор, кивнув на гостя. – Ему б не нашу соплюху, а хорошую девку в жены. Так что спасибо за честь, Федор Алексеич, - заключил он, - а молода наша невеста, только-только исполнилось шестнадцать. Жениться тебе, пожалуй, и вправду надо, только не на нашей...

Жених встал, несколько секунд стоял, набычившись, потом спросил:

- Можно, я с Тamarой поговорю? С глазу на глаз.

- Да нечего тут толковать, - сказала из кухни старуха и вздохнула.

- Мала еще наша девка, пусть подрастет, - вздохнула и мать и опять засмеялась.

- Тогда я пойду.

Федя, обиженный, направился к двери.

- Тамара! – позвал отец. – Проводи жениха.

Гость подождал на крыльце: и впрямь не выйдет ли?

Не вышла. Значит, это они так пошутили. Он уже взялся за велосипед, когда услышал сзади скрип двери и легкие шаги. Тамара подошла, сказала, сильно волнуясь, но очень строго:

- Ты что, сумасшедший? У тебя, наверно, не все дома?

- Почему?

- Кто же так делает-то? На смех, что ли?

- А как надо?

- Не знаю как, а не так...

- Иначе не получается, - сказал Федя, сознавая, что сейчас она уйдет. – Скучаю я без тебя.

- Чего это вдруг? – она смутилась и засмеялась.

- Сама знаешь... А сюда приезжать – ваши меня бьют.

Она глянула вдоль улицы, пожала плечами и пошла к крыльцу.

- Я все равно на тебе женюсь! – крикнул он ей вслед.

43.

На обратном пути вел велосипед, как лошадку в поводу. Просто забыл о нем. И не заметил, как прошел Баулино, Верхнюю Луду...

И вот теперь уже, когда он дорогой по-хозяйски размышлял о доме и о своей будущей жизни, чинно и степенно пришла к нему очень дельная мысль (будто подсказал кто-то со стороны!): не надо делать стируху в огороде, а самое место ей – в подполе. Если там сложить печку да вмазать котел... Котла нет, но можно вместо него

- Я отдам, как только он вернется, - поспешил сказать Федя.
Рая заплакала и ушла в дом.

На другой день при свете коптилки Федя сложил в подполе печку и вмазал в нее ведро вместо котла.

В следующую ночь вывел трубу вверх через шесток.

Потом опять же ночью (днем-то работал в колхозе) укрепил над печкой каток, установил скребницу, лохань, в которой замачивать перед валкой, и еще одну лохань – в ней красить...

Вот теперь можно было начинать работу.

1989 г.

9. ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ, повесть - «НОВЫЙ МИР», №8 – 1989.
10. ОНИ НАСТУПАЮТ, повесть - «ВОЛГА», №№7 и 8 - 1990.
11. НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ, повесть - «НЕВА», №7 – 1990.
12. ВАЛЕНКИ, повесть - «НОВЫЙ МИР», №4 – 1992.
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЖИЗНИ, повесть - «ЗНАМЯ», №12 – 1992.
14. ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №1 – 1993.
15. ГРИБЫ С ГЛАЗАМИ, повесть - «МОСКВА», №12 – 1993.
16. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» №2 – 1994.
17. ХУТОРОК, повесть - «ДЯДЯ ВАНЯ», лит. альманах Чеховского общ-ва, №2 – 1994.
18. ДИКИЙ РЫНОК, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ» №1 – 1995.
19. ПУСТОШЬ, повесть - «БЕЖИН ЛУГ», №2 – 1995.
20. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть - «ДЯДЯ ВАНЯ», лит. альманах Чеховского общ-ва, №1 – 1995.
21. РУССКИЕ СНЕГА, роман - «МОСКВА», №9 – 1996.
22. ПУСТОШЬ, повесть - «ВОЛГА», №11-12 – 1996.
23. НОВАЯ КОРЧЕВА, очерки - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №4 – 1996.
24. НОВАЯ КОРЧЕВА, очерки - «НОВЫЙ МИР», №2 – 1997.
25. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть - «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК», №2 – 1997.
26. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 – 1997.
27. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ, повесть - «МОСКВА», №12 – 1997.
28. ХОЛОПКА, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 - 2000.
29. ХУТОРОК, повесть - «НЕВА», №11 – 2000.
30. ПРО ПОЛКОВНИКА, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №3 – 2001.

31. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть - «РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ», №4-2002.
32. РУССКИЕ СНЕГА, роман - «РОМАН-ГАЗЕТА», №3 – 2004.
33. ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ, повесть - «ДОН», №6 – 2004.
34. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть - «ДОН», №5 - 2005.
35. ПРИВЕТ, СТАРИК!, повесть - «ДОН», №2 - 2006.
36. ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ, повесть - «НАШ СОВРЕМЕННИК», № 8 - 2006.
37. ПРО ПОЛКОВНИКА, повесть - «ПОДЪЁМ», № 9 – 2006.
38. ПИСЬМЕНА, роман - «ДОН», № 10 – 12 за 2006, № 1 – 2 за 2007.
39. ХОЛОПКА, повесть - «РУССКИЙ ПУТЬ №2(11) – 2006.
40. ДЕЛО СВЯТОЕ, повесть - «ПОДЪЁМ», №4 – 2007.
41. ЯМУГА, повесть - «НАШ СОВРЕМЕННИК», №1 – 2008.
42. ХОЛОПКА, повесть - «ПОДЪЁМ», №4 - 2008.
43. ВРЕМЯ НОЛЬ, повесть - «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (Минск), №4 - 2008.
44. ТРУБА ЗОВЁТ, повесть - «ПОДЪЁМ», №2 - 2009.

Отпечатано в ГУП МО «Клинская типография»
141600, Моск. обл., г. Клин, ул. Ленина, 7.
Тел./факс 5-83-97
E-mail: 58397@mail.ru.
Заказ 3874, тираж 20.

